Сны курильщика

Андрей Юрьевич Агафонов

SHOUT
SHARE
IT

- Андрей Агафонов
  - КЛОУНЫ С РАЗБИТЫМИ СЕРДЦАМИ
  - ВОПЛИ В КОЛЫБЕЛИ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ
  - ПОД СКАЛЬПЕЛЕМ БЕЗЖАЛОСТНОЙ КАПЕЛИ
  - НА ПЕРЕПУТЬЕ ФРАЗ И ЖЕСТОВ
  - ВОТ И ПОЛОЖИЛИ НА МЕНЯ КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ
  - МОДНАЯ ПОЗИТИВНАЯ ТУПОСТЬ
  - НИ ЖЕНЫ, НИ ШУМА, НИ СКАТЕРТИ…
  - ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И БЕЗ САХАРА
  - ПРЕДЕЛЫ НЕОБХОДИМОГО САМОУБИЙСТВА
  - ТВОИХ СТЕКЛЯННЫХ РУК ПРИКОСНОВЕНЬЕ
  - СОН КУРИЛЬЩИКА В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
  - КАЛЕКА ГУЛЯЕТ — ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
  - СЕМЬЯ: ДВЕ РЫБКИ ПОД ЗОНТИКОМ
  - МОИ ДРУЗЬЯ — ВОРЫ-РЕЦИДИВИСТЫ
  - ТРОНУТЫЙ ОТ РОЖДЕНИЯ
  - РАД БЫ В АД, ДА НЕ ПУСТЯТ НАЗАД
  - ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ — ЛИШНИЕ ПОВОДЫ
  - ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ, НЕЙРОЛЕПТИКИ И АНТИДЕПРЕССАНТЫ
  - СМЕХ УМИРАЮЩЕЙ НАДЕЖДЫ
  - КАРФАГЕН УЖЕ РАЗРУШЕН

Андрей Агафонов
СНЫ КУРИЛЬЩИКА

КЛОУНЫ С РАЗБИТЫМИ СЕРДЦАМИ

У каждого в этом городе — свои призраки. Свои укромные, стыдные радости. Свое счастье втихомолку. Видели рекламу «Ностальжи»? Сидит за столиком среднелетний человек, приятный, мягкий, и грустно смотрит на залитую неоном и дождем среднеевропейскую вечернюю улицу: вспоминает…

При обилии в городе закусочных, рюмочных, баров, кафешек, стекляшек — где наши помятые жизнью грустноглазые джентльмены? Ах, у нас иной стиль, иная традиция: «и пьяницы с глазами кроликов «Верните Ельцина!» кричат…»

Что же, отдадим дань традиции: вместо хрустящего стеклом и пластиком кафе отправимся в трактир. Я знаю один порядочный трактир недалеко от Плотинки, правда, называется он «Пельменной», но это уже не суть важно: это для непосвященных. Второе, тайное название — «У Свидригайлова».

В нем две крохотных залы. В первой размещаются касса и собственно кухня, «раздача», да несколько модерновых пластмассовых столиков. Вторая зала обшита деревом и освещается только светом из высокого маленького окошка, так что противоположная ему стена и стоящие рядом с ней тяжелые, обшарпанные столы, покрытые невзрачной, но чистой клеенкой, тонут в полумраке. Вот как раз в подобных укромных и зловещих местечках герой Достоевского Свидригайлов, равно как и другие его герои, вынашивал свои больные грезы о возможной поездке в Америку и тому подобном прочем. Единственное, как мы уже сказали, окошко выходит на глухую улочку огромного города, а занавеску на окошке можно даже и задернуть…

Кроме того, здесь подают необычайно вкусные пельмени. И, если к вам уже привыкли, можно курить…

* * *

Ну что ж, убогая тарелка измазана кетчупом и горчицей, мутный стакан пуст. Я один в темном углу. Садись, читатель, в ногах правды нет, как нет ее и выше, — поговорим…

У меня сегодня был трудный день — я искал подарок для любимой. Такую вещь, которую она видела бы постоянно, связывала мысленно со мной, не теряясь в догадках, «откуда это взялось». (Разумеется, это не должен быть пейджер…)

Картина. Конечно! Почему мы все дарим близким людям нечто серийное, подлежащее обязательной сертификации? На

этих глянцевых поверхностях нет отпечатка нашей личности — только отпечатки пальцев. Мокрой тряпочкой пройтись…

Но вот картину–то купить оказалось непросто. Казалось бы, деньги (пусть немного) есть — что–нибудь подберется. Не тут–то было. Обошел художественные салоны, но выставленная там прихотливая мазня впечатления что–то не произвела. На одних полотнах краски какие–то выпуклые, на других — разбрызганы, будто помелом, на третьих и вовсе выклеены обрезки парчи и наждачной бумаги… Не греет все это.

Другую крайность представляют всякие там цветочки–лютики, со слезой намалеванные ржаные пейзажи, сладкая луна над похабным морем, оплывающие свечи с издевательски трепетными огнями. Размазанный по холсту Сидни Шелдон, утеха домохозяйки, мечтающей о карьере дорогой проститутки, нечто просчитанное, усредненное, — дешевое компьютерное фуфло.

А нужную картину я нашел недалеко отсюда, в скверике возле Пассажа, иначе именуемом «плитой», где собираются художники–самодельщики. То есть, пардон, конечно, кто–то здесь наверняка с дипломом и международным признанием (две акварели и гуашь куплены по пьянке залетным шведом), но — не попавший в истэблишмент, неспоймавший конъюнктуру, как собака зубами колбасу — на лету, не вывалившийся всем творческим весом на страницы подслеповатой народной прессы… Помню, на первой странице одной большой газеты читал я подборку культурных новостей, сопровожденную фоторепродукцией. Первая культурная новость была — о выставке живописных работ сумасшедших, я и воспринял репродукцию как работу сумасшедшего: не очень умело изображены какие–то волосатые овалы, да еще и завалены куда–то вбок. Читаю дальше: ба, а вторая–то новость посвящена персональной выставке одного очень известного художника, и на фотографии запечатлен его последний творческий прорыв! (У нас ведь теперь порывов нет — одни прорывы…) Но, в общем, искусствоведы в этом разбираются лучше меня, а я, жлоб и плебей, взял да и купил совсем другое.

Грубый холст, натянутый на рейки, стоял, прислоненный к дереву, прямо в снегу. Рамы не было. На холсте же красовался невообразимый урод, с сизым и зеленым лицом, огромным красным носом–грушей, двумя водоворотами вместо бровей… Урод был грустен, как мужик из «Ностальжи», и держал в пальцах толстенную цигарку, исходящую густым желтоватым дымом. Руки урода были как ноги; ногти на пальцах — широкие, будто деревянная лопата.

— Почем клоун? — спросил я.

— Это «Курильщик», — ответила топтавшаяся под деревом барышня и шмыгнула носом. — Сто тысяч.

Еще она пояснила, что автор — не она, другая барышня, та отошла погреться, кофейку попить. Фамилию я, грешным делом, не спросил. Какая–то завитушка на изнанке холста: поди, разбери. Глядишь, когда и знаменитой станет…

* * *

Представляю, как ядовито издевается, похмыкивая, над моим рассказом какой–нибудь искушенный эстет, тонкий ценитель, сноб в жилетке или в подтяжках. Какие, дескать, клоуны — после Пикассо! И пошла канитель: супрематизм — то, кубизм — сё, постимпрессионизм — еще что–то… И, мол, до чего же это все не ново, пошло, бульварно, избито, приелось, опостылело, обрыдло… Да я же своего «Курильщика» не отстаиваю! Он, может быть, четырежды вторичен, да вообще под трафарет написан, срисован с открытки, — почем я знаю! Но — и это главное! — он мне действительно нравится… Как нравится эта пельменная, в которой мы сидим с тобой, читатель, созерцая из окна милые призраки давно ушедших людей и дней.

Тебе тоже есть что рассказать. У Достоевского, помнишь, ежели сойдутся в трактире двое абсолютно незнакомых русских, они через пять минут после знакомства уже начинают решать мировые вопросы. Валяй. Сегодня у тебя есть мужество признать, что ты имеешь свой собственный вкус, что у тебя — своя судьба и свои тайны, и все это непохоже на то, что есть у меня. И пусть банда лучших ценителей не диктует нам больше, что считать самым вкусным, самым модным, самым трогательным… Знаешь, известный музыкальный анархист Фрэнк Заппа, царствие ему небесное, язвительно говорил, что вышибить слезу из меломана — плевое дело, достаточно так–то и так–то сыграть в ре–миноре; но он так и не написал, хотя бы в качестве примера, ни одной действительно трогательной баллады, Заппа–то. Признайся же честно, читатель, что тебя воротит от моей картины, зато ты получаешь неподдельное удовольствие от фильмов с Брюсом Виллисом — и я чокнусь с тобою томатным соком…

ВОПЛИ В КОЛЫБЕЛИ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

Мы такие очаровательные иногда. Бабулька в 28-м автобусе не поспела сойти на своей остановке. Она шипит и каркает: «Чтоб вы все сдохли! Чтоб вы сами все подохли!» — и расставляет локти, будто жабры. У бабульки пальто в грязи, лицо как сырое мясо и Ниагара изо рта; и дурной жидкий глаз, залепленный тугим красным веком, уставился прямо на меня. Так и едем вместе долгих пять минут: пять минут она желает мне, только что вошедшему и не имеющему к ее проблемам ни малейшего отношения, подохнуть. Так получилось — автобус переполнен, мы прижаты к дверям. Ударить или одернуть ее нельзя — она старая; пожалеть нельзя — она страшная; остается дожидаться, пока она (сдохнет первой) сойдет на первой остановке…

Есть такая категория людей — пенсы. Это отнюдь не все пенсионеры, и даже не обязательно люди, получающие пенсию, — это просто преклонного возраста шпана, отвязанное старичье, самые свободные люди в нашем городе и в нашей стране. Трогательная парочка пожилых супругов, делящаяся своими интимными переживаниями через головы пассажиров трамвая; въедливые старички в супермаркетах, третирующие продавщиц, доводящие их, вышколенных девочек с полупрофессиональной улыбкой и лаковыми ноготками, до вполне советской истерики; пьяный нищий у церкви, рашпилем протыкающий печень не подавшему милостыню парню в норковой шапке: это все один тип людей, отрывающихся на полную катушку, потому что терять–то нечего. Свобода! Кто же урезонит старичка, вот этот дядек с дубинкой, затянутый в синее, выпрыгнувший из голливудского кино? Дядек меня урезонит, вас; а пенсам подавай милиционера их юности, подтянутого, представительного, чистенького, козыряющего:

— Будьте добры в Сибирь на тридцать лет…

Спешу на деловую встречу, поймал машину. Дед за рулем говорлив (пенсы не стесняясь демонстрируют свободное владение русским языком, включая татарский мат), любит Лебедя, надеется на него:

— Он порядок наведет, киоскеров этих сраных разгонит…

Ехать долго, не отвечать — неудобно (еще меня за киоскера сочтет), и я затеял дискуссию. Мол, Лебедь, конечно, великий человек, но киоскеры–то почему не люди? Кому они мешают? Любую мелочь в любое время суток подошел и купил — это что, плохо? И заработки их вполне сравнимы с заработком автоизвозчика, и труд не менее тяжелый…

Не убедил я его. Бесполезно. Знаете, к Диогену подошел один такой настырный древний грек и говорит: «Вот, говорят, что ты мудрец. А убеди меня в чем–нибудь!» На что Диоген так ответил: «Да если б я мог тебя убедить, то убедил бы повеситься!»

И, в общем, Бог бы с ним. У нас, как еще шутят некоторые, свободная страна, каждый имеет право на свое мнение. Так–то оно так, но «свое мнение» — это еще и голос избирателя. Пенсы — это избиратели: это, мать его, электорат, большая часть электората. Как они решат — так и будет. А они решают вовсе не по законам логики и здравого смысла: в их бюллетенях расписываются, говоря ТВ-языком, «Гордость и Предубеждение», а попроще — Злоба и Предрассудок. И, согласно злобе и предрассудкам, те, кто успел вскочить на свой поезд (или сойти на своей остановке); те, кто не нуждается в поддержке «народных масс», те, кто живет более насыщенной, более яркой жизнью, полны сил, талантливы — заведомо в черном списке. Пенсы в 1991-м избрали Президентом Ельцина — из ненависти к Москве, видя в нем милиционера своей юности. Ельцин теперь и сам пенс, его телевизионные интервью ужасны: начинает фразу вроде бы нормальный человек, заканчивает же — окопный психопат, судорожно сжимающий не то костыль, не то плечо пресс–секретаря. Ему хочется уступить место в трамвае.

И в конце концов, кто из нас, покупающих домашние пельмени у бабушек на углу, хоть однажды не отведал человечины…

ПОД СКАЛЬПЕЛЕМ БЕЗЖАЛОСТНОЙ КАПЕЛИ

Секс — это хорошо.

(Все хорошо, что хорошо кончается.)

Но хотя бы теперь мы можем поговорить о весне как таковой?..

Да, конечно, теперь, когда снег сошел и повсюду обнаружились просто залежи собачьего дерьма, — ай, читатель, смотри, куда ступаешь! — запах весны не так уж пьянит…

Да, конечно, буквально расцветают махровые автолюбители, соревнующиеся в прицельном обливании жидкой грязью и темной водой зазевавшихся пешеходов…

Да, конечно, гораздо больше стало пьяных, и полной грудью вздохнула трудная молодежь…

Однако все это — на поверхности; а над поверхностью–то, над земной то есть корой, со всеми ее букашками–таракашками, — небо.

Прямо над волосами.

Шапок–то нет.

Богатые женщины еще донашивают богатые шубы, еще пока прилично; потому что любой искренне весенний наряд, вы, наверное, замечали, — беден и прост. Но простоволосы уже все, поголовно.

А те, кто в кепках, — с добрым прищуром.

Разговор двух пожилых в ожидании лифта:

— Как жизнь молодецкая?

— Молодецкая ничего была…

Смех совсем детский.

Чувства грубее, ярче, определеннее; оптика виновата? — вместо воздуха одно большое цейссовское стекло… Всех видишь издали и насквозь, люди ходят, как привидения, и вы говорите — авитаминоз, а я считаю — звезды.

Звездный свет в глазах изголодавшихся по горькой кожуре неважно какого овоща, самого завалящего фрукта.

Вот вам объяснение любви.

— Любовь, — с важным видом сказала мне одна постриженная под воробышка (ах, как противно орут воробьи на рассвете!) женщина, — это когда два взрослых человека чувствуют себя ребенками…

И правда, посмотрите, сколько в городе парочек, держащихся за руки. Это абсолютно не завоевательный, не «взрослый» жест.

Это так трогательно…

До чего же просто — небо. Под небом хочется гулять. Вдвоем. В одиночку. Неважно. Звезды светят всем, только их никто не видит.

Ну, а я почувствовал весну несколько иначе. Сахар кончился, денег нет, есть мед в мутной банке — вот медом кофе заправлял, чтоб не так горько было. Захожу на кухню, смотрю: а на ложке, медом испачканной, муха сидит. И лапки потирает в предвкушении.

Очень, сволочь, живая.

Такие дела.

НА ПЕРЕПУТЬЕ ФРАЗ И ЖЕСТОВ

Поздний вечер. Почти пустой троллейбус. Парочка на переднем сиденье — она склонила голову ему на плечо, он, что–то буркнув, прикрывает ей коленки пластиковым пакетом. Беспредметная нежность, беспредметная ревность («нечего коленками сверкать!») — идиллия…

Однако бац — на остановке водитель открывает лишь одну дверь: проверяет, все ли законно доехали. Выясняется, что наша парочка — зайчата; кавалер, конечно, платит штраф за двоих, но мне нравится реакция водителя:

— За двоих?! Неужели охота штраф платить?

Штрафуемый объясняет, что привык ездить с проездным, да вот уволили его и проездной отобрали. Водитель искренне огорчен:

— Подошли бы, у меня купили абонементы. Это же так просто!..

И разводит руками, показывая, до какой степени это просто… Я вижу их из окна троллейбуса, этих малость общипанных зайцев. Они улыбаются.

Что значит — никто никому не испортил настроения.

* * *

— Угол Крауля — Викулова, за пятнадцать.

— За двадцать.

— За пятнадцать.

— За двадцать, — водитель «девятки» неумолим и жаден, от Фрунзе до указанного угла, да еще днем, «пятнашка» — в самый раз. Едет дальше порожним, а к обочине подруливает заляпанный грязью «Москвич»:

— Тебе куда, браток?

В машине двое, по виду — сами натуральные «братки»: бритые затылки, кожанки из дешевых… Но дело спешное, решаюсь, еду.

Оказывается, правда, что дороги они не знают, я — тоже, мы тычемся во все тупики, как слепые кутята.

— Чё, не знаешь, как ехать? Ты местный?

— Почти. А вы?

— А мы нет.

Чувствую — влип. В салоне только что не наблевано, а так — хорошо, уютно; бычки можно прямо на пол бросать, благо, под

ногами лужа грязи. Магнитофон выдает что–то забубенно–блатное, такой репертуар, что Шуфутинский кажется уже официозом… Реакция парня за рулем на очередной глухой дворик:

— Гы-ы… Смотри, не туда доедешь…

Выруливаем на Посадскую. Завидя белую машину с синей полосой, рулевой тревожится:

— О, бля, мусора…

Да уж не в угнанной ли машине я еду?! Однако надо поддерживать светский разговор:

— Так откуда вы?

— Далеко! — смеются. — Отсюда не видать!

После паузы:

— Из Кемерово. А ты?

— Из Кургана.

— Ехала девчонка из Кургана, пятерик везла до Магадана, а за нею ехал вслед парнишка, и ждала его в конце этапа «вышка»… — тут же откликается тот, что справа. Я, не уверенный, что запомнил все правильно, повторяю вслух слова, он оборачивается изумленно:

— Чё, музыку любишь?!

И бегло пересказывает продолжение: как кто–то к кому–то лез «на шконку», на нары то есть, а финал истории грустный, как у Шекспира:

— В общем, во концовке пристрелил прапорщик зэчку…

Братки заметно проникаются лирическим пафосом исполненной а капелла баллады, в машине воцаряется мрачное молчание. А вот уже и угол искомый, я с облегчением прощаюсь, интересуясь из вежливости, куда им теперь ехать.

— А х… его знает, на Уралмаш, наверное. Да не переживай, доберемся как–нибудь, — и, косясь на мой пакет, тот, что справа, спрашивает:

— У тебя поесть с собой ничё нету?

— Нет. Счастливого пути.

А правда ведь, искусство сближает людей…

* * *

Еще не отошедший морально от встречи с гостями из дружественного Кемерово, стою под окнами девятиэтажки и надрываю легкие:

— Алена!

Известное дело — железная дверь на подъезде, а домофоны у

нас не прижились, почему–то все время ломаются… Сзади кто–то легонько трогает за локоть:

— Вам в этот подъезд? Пойдемте…

Обходительный мужик с тяжелой сумкой открывает дверь подъезда и даже пропускает меня вперед:

— Пожалуйста…

— Спасибо…

Мне на лифт, ему за почтой. Расходимся, приятно улыбнувшись.

Екатеринбург — город контрастов.

* * *

Дела закончены, пора домой. Наученный чужим, но горьким опытом вчера увиденных «зайцев», сам подхожу к девушке–кондуктору с кучей бумажек и медяков в руке. А девушка ладная, весенняя такая, улыбается слегка сердито:

— И это все мне?.. Хотите из меня копилку сделать?

— Ага, — улыбаюсь я. — Специально всю мелочь в доме собрал, чтобы от нее избавиться…

И последний диалог за этот долгий и насыщенный воскресный день состоялся у меня опять же на остановке «Фрунзе». Мужик какой–то выскочил с пакетом из–за темнеющих киосков:

— Извини, земляк, пэ–вэ–а не купишь?

Как–то по–французски звучит. Смотрю недоуменно, мужик (судя по цвету и запаху, чуток с бодуна) поясняет:

— Клей ПВА! — две внушительных емкости, вижу теперь, болтаются в пакете.

— Да мне как–то без надобности…

— Почему? Им же что хочешь склеить можно!

Довод, конечно, неотразимый, однако клея я так и не купил. Я шел домой, мне было весело и хорошо. Отчего? Оттого, что люди здесь такие — веселые, хорошие. Без шуток: как легко жить, когда в любой ситуации стороны проявляют ровно столько доброжелательства, сколько им нетрудно проявить! Насколько же необязательно — хамить, наказывать, осаживать… Насколько естественно — улыбнуться, отшутиться, посочувствовать, помочь… Как говорил тот водитель троллейбуса, хорошей ему дороги:

— Это же так просто…

ВОТ И ПОЛОЖИЛИ НА МЕНЯ КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Наверное, нужен какой–то толчок, да?.. Толчок — или что–то в этом роде, выбивающее из привычной колеи, выводящее за рамки, выносящее за скобки… чтобы прозреть и поверить: Бог есть. Вот только что не было, а теперь — есть. Я ведь почему спрашиваю. Интересно просто.

Вчера у ДК Автомобилистов — бывшего ДК, а ныне храма Божьего, — видел характерную сценку: вышли из храма муж с женой, молодые, лет по тридцати, и крестятся на икону над входом. И кланяются. А с ними девочка, по виду — недавно в школу пошла. И тоже крестится. И тоже кланяется. То есть, у нее это — с младых ногтей. А у них?.. Чуть постарше меня, и вряд ли — катакомбные христиане, вряд ли в скитах где–либо спасались. Такие же, городские.

Мое поколение — то, которого якобы «нет». Те, чей год рождения упал на шестидесятые. Впечатления нашего детства: первые чаплинские короткометражки и позднее затушеванный Микки Маус, «Ну, погоди!» и потасовки советских и канадских хоккеистов (трансляция прерывается, окна кухонь загораются во всем огромном доме). Шоколадное масло вместо сливочного. Мармелад, продававшийся неразрезанными пластами. Поездка в Москву — для тех, кому повезет.

(А что в Москве? ВДНХ и шоколадный пломбир за 42 копейки — трудно доесть и трудно не доесть… Фанта в стаканчиках… Мальчик видит идущих навстречу людей с черными лицами, лепечет растерянно: «Здравствуйте, товарищи негры!» Десятки рук спешащих прохожих тут же пихают его в спину: «Проходи, мальчик, чего встал!»)

Спортивная секция — обязательно! Мы были очень спортивным поколением: настольный теннис, фехтование, дзюдо… Каратэ было под запретом, но секции каратэ существовали, и самыми популярными были фильмы, где демонстрировалось резкое, отточенное насилие: «Пираты XX века», «Сыщик»… Кинотеатры были полны народу, билет купить на вечерний сеанс — проблема. Мы сбегали с уроков на дневные сеансы. Раджив Капур и Дхармендра котировались наравне с Делоном и Бельмондо, а редкие голливудские фильмы сеяли панику: «К сокровищам авиакатастрофы» оказался антисоветским, а мы всем классом его смотрели…

Но диссидентства — широкого, — не было. Пьяные отцы на

кухнях костерили Брежнева безо всякой политкорректности, но оставались истинно лояльны великой стране, в которой жили. Семьи переезжали в новые квартиры. Одно–единственное убийство могло переполошить целый город. В очередях за джинсами давили старушек. А дети — те, кто поумнее, — читали книги. Слушали Высоцкого. Жванецкого. Ценили, кстати, юмор. Сатира «на строй» не воспринималась, и если бы аудитория была уверена, что Жванецкий — антисоветчик, его бы презирали. Их всех тогда презирали — Солженицына, Сахарова. Больные люди, эти диссиденты…

Все одевались в разной степени плохо. Любовь не знала классовых различий. Мальчики в сочинениях писали, что, будь у них атомная кнопка, они бы не задумываясь взорвали США («Но сначала — Китай»). Но кто–то уже слушал «Воскресенье», кто–то запоем читал Достоевского…

Мы пришли к самым верным и важным истинам легко, без усилий, потому что ничего другого нам не оставалось. Нас загоняли в комсомол, но это была пустая формальность. Нам не давали читать Гумилева и Набокова — а не очень–то и хотелось, у нас были Пушкин и Блок. Литература «деревенщиков» по масштабу и художественному воздействию была сравнима с магическим реализмом латиноамериканцев…

Мы были абсолютно, бесповоротно асоциальны. Поколение одиночек, поколение самодельных эстетов, психологически — фашистское поколение: мы могли участвовать в политике, только если это было красиво, «не так, как в жизни». В начале 80-х в каждом городе, где побывала копия фильма «Площадь Сан — Бабила, 20 часов», объявились свои фашисты. Мальчики из хороших семей, интеллектуалы и спортсмены. Не самые дурные головы в той стране, уверяю вас. Язычники — да. Мы были признательны советскому правительству за то, что, кроме него, нам некого бояться. Мы исповедовали Веру, Надежду, Любовь — и без матери их Софии, премудрости.

Затем пришли иные времена. Правительство свернуло себе голову. На место дряхлых, гнилых, но «наших», советских старперов, пришли какие–то деляги, верткие недоноски с фарфоровым оскалом, и принялись учить нас жить. Их учительство было активным, а мы же были оторваны от общества, мы верили всему, что обладало энергией убеждения, — и мы сгорели. Погибли. Кто–то (большинство — лучшее большинство!) спился с круга, кто–то разочаровался в любви и начал делать деньги…

Но мало кто пополнил ряды политиков или «братков» — и для тех, и для других мы слишком много читали, в нас было

переразвито чувство прекрасного… Так мы ушли с арены. А на наше место пришли они — бывшие школьные тихони, неудачники от рождения, не знавшие иных трагедий, кроме личных. Все эти годы они были в тени — они смотрели на нас с ненавистью и тоской, иногда и с любовью, и ждали, чего еще мы выкинем. И когда оказалось, что наши фокусы кончились, худшие из них через комсомол — через МЖК — через видеосалоны и дискотеки — пришли к власти и стали нанимать нас, своих удачливых, своих ярких ровесников, работать на себя. Лучшие же…

«Лучший не значит — хороший, лучший — это означает, что остальные еще хуже…» Лучшие из тихонь отомстили нам больнее всего — они подались в церковь. Ударились в веру. «Вы не смогли защитить нас, — говорят они, — так, может быть, Бог защитит». Тому же они учат детей: быть неудачниками. Быть серыми и смиренными — авось не заметят. Авось примут за своего. Авось полюбят.

И они правы.

МОДНАЯ ПОЗИТИВНАЯ ТУПОСТЬ

На мне по жизни клеймо «чернушника». С ним, видимо, и умру. Оправдываться смысла нет — черного кобеля не отмоешь добела. Но есть смысл объясниться.

«Чернуха!» — говорили мне, когда я приносил в редакцию интервью с военкоматским полковником. Полковник говорил примерно следующее: что вы, журналисты, обрушились на армию, если то же самое творится в любой средней школе? Та же «дедовщина», и без скидок на возраст: и избивают до полусмерти, и «опускают» парней (то есть насилуют) в туалетах, в раздевалках спортзалов… Я, тогда еще сам недавний выпускник школы, знал, что это правда. И записывал слова полковника. И там, где он, не находя других слов, вставлял вульгаризм или мат, я следовал ему.

Конечно, интервью не вышло.

Я беседовал со специалистами–наркологами о вреде наркотиков, и все они в голос заявляли: для России на сегодняшний день самый страшный наркотик — это водка. Любой наркотик — просто наркотик; водка же одновременно и наркотик, и яд. Смертельная доза — 0,5 литра, бутылочка с издевательской наклейкой: «Спирт питьевой». Выпей разом, не закусывая, не отдыхая, — и какой бы ты ни был крепкий, закаленный алкаш, ты окочуришься. Я слышал, как синюшные папа и мама увещевали наркомана–сынка: мол, курить травку так нехорошо, так вредно.

А он отвечал:

— Я вот вчера косячок забил с Димой в пополаме, а вы с мамой водочки ужрались. Так я вас по койкам растаскивал, спать укладывал, а не наоборот. Какие претензии?..

Претензии огромные. Борьба с наркоманией — это модно. Так же модно, как использование презервативов. Борьба с пьянством — это не только немодно, это вообще признак отсталого, некультурного человека, скорее всего, коммуниста.

Я ведь тоже человек, я все понимаю. Наркоманов относительно немного (настоящих наркоманов — тех, которые колются и нюхают), никто за них не заступится, а смерть от наркотиков — у всех на виду, она шокирует. Поэтому выделяются немалые деньги на борьбу с этой самой растреклятой наркоманией, и борцам с нею — слава и почет (и по заслугам! по заслугам!) Пьет же Россия поголовно, спивается деревнями и городами, и любой чиновник, от которого зависит, бороться ли с пьянством, сам не дурак дернуть рюмочку коньяка перед обедом, перед ужином, перед сном… И ради бы Бога — но зачем же

корчить озабоченность мелкими проблемами, в упор не видя крупных?! Зачем критиковать следствия, не интересуясь причинами? Ах, вы думаете, что это уже неактуально? Ну поинтересуйтесь у того же чиновника — «культурпитейца», почему он по нескольку месяцев в году таскается по курортам; поинтересуйтесь у его жены, на каком году совместной жизни ее муж стал импотентом… Поинтересуйтесь статистикой рождения дебилов… Папа — артист, мама — журналистка, сын — олигофрен…

Один из моих коллег не дожил до пятидесяти — умер от гнилостной пневмонии. Он сильно пил, кодировался–раскодировался не знаю сколько раз… Умер на улице, под забором, на следующий день после встречи Нового года. Семейный человек — жена, две взрослые дочери, — патологоанатомы удивлялись диагнозу: «Гнилостная пневмония — это же болезнь бомжей, бичей!»

Я, наверное, единственный в России журналист, додумавшийся (чем вовсе не горжусь) брать в городском морге еженедельную сводку с указанием причины смерти. Потом оказалось, что патологоанатомы не имеют права давать такие сведения прессе, и канал информации закрылся.

И, в общем–то, понятно, почему информация эта закрыта: потому что практически все в России, умирающие не от старости и не от рака, умирают от водки. Сердечно–сосудистые заболевания: на 90 процентов смертельный исход связан с выпивкой. Печень, почки… можно даже не объяснять. Несчастные случаи на производстве, аварии, бытовуха, поножовщина — все похоронено одной банальной строчкой: «находясь в состоянии алкогольного опьянения».

Я не призываю опять вырубать виноградники, вводить сухой закон и увольнять за пьянку с работы. Это и невозможно, и не от меня зависит, и в конце концов спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Но разрешите мне естественную брезгливость по отношению к некоторым вещам. Разрешите сказать еще раз: мир во зле лежит. Если задумываться, жить становится неописуемо страшно и тяжело. Выхода нет. Спастись можно только индивидуально. Все попытки изобразить из себя каких–то борцов с человеческими пороками я причисляю к обыкновенному фарисейству, более того — к оплаченному фарисейству. То есть люди делают вид, что кому–то там деятельно сочувствуют, да еще за это деньги получают.

Поэтому очень симпатичны те, кто не имитирует никакой филантропии, не стесняется собственного эгоизма и не подает милостыню бедным. Просто замечательны те, кто с рождения

расслабляется. Да здравствуют те, кто слушает сахарную музыку и читает Григория Остера. Трижды благословенны свалившие за рубеж.

Оскар Уайльд писал: «У англичан нынче в моде спортивное тупоумие», — конечно, он же был английским писателем…

НИ ЖЕНЫ, НИ ШУМА, НИ СКАТЕРТИ…

Что это значит? Это значит, что можно играть в преферанс. И вот в субботний вечер, в час назначенный, тарабанит в дверь холостяка троица игроков, груженная пивом и тушенкой. На столе (чертежная доска на двух табуретках) — несколько пачек сигарет, листок бумаги, ручка и карточная колода. 32 карты, без шестерок.

Представляем игроков: автор этих строк; Дмитрий; Дмитрий; Дмитрий. Дмитрий первый не то чтоб очень пьян, но весел бесконечно: он гнет пальцы и говорит, что вообще–то в «прэф» играет только на деньги, но так уж и быть, в виде исключения… Дмитрий второй внешне — типичный итальянский мафиозо из фильмов Мартина Скорсезе: круглый и крепкий, как орех, с прической ежом, в широких подтяжках. Он самый старший, самый опытный и самый бесцеремонный игрок. Когда идет играть в преферанс, жена знает — раньше позднего утра следующего дня его лучше не ждать. Дмитрий третий — новичок, откровенно робеющий перед премудростями игры и превратностями жизни. Наконец, я. Не играл в преферанс больше десяти лет. Потом объясню, почему.

— Кто считать будет? — вопрос новичка.

— Пусть вас не волнует этих глупостей, — Дмитрий второй уже расписывает бумажный лист сдвоенным прямоугольником, рассеченным диагоналями крест–накрест. Во всех отсеках этой сложной диаграммы покамест пусто: лишь инициалы красуются. Все это, конечно, можно воспринимать как метафору…

— Раз, — это значит, что картой, сданною мне, я в принципе доволен, и готов взять шесть взяток из десяти, если козырями будут пики. Еще иногда говорят: «шесть первых». «Вторые» — это кресты, затем бубны и черви, затем — «бескозырка». Затем — семь взяток, и т. д. Сейчас идет борьба за обладание прикупом, но Дмитрий первый молчит.

— Ну? — толкает его сосед в подтяжках.

— И я раз, — говорит тот и ухмыляется…

— Ты… — сосед употребляет рифмованное ругательство. — Ты играешь?

— А что надо сказать?

— Надо сказать или «два», или «пас».

— Два…

Раз–два–три-четыре–пять, вышел зайчик погулять… Очень скоро в «гору» (то есть в минус) Дмитрию первому заряжаются какие–то атомные цифры, а Дмитрий второй выходит из себя:

— Ты что говорил, когда сюда ехал? «Я играю только на деньги, только на деньги!» Я тебе сейчас устрою перелом тазобедренного сустава в трех местах… Встреча в горах с кретином, почти по Бунину…

— Говорили мне, что преферанс — грубая игра… — вставляет новичок.

— Я жрать хочу, — угрюмо заявляет «кретин». Мы плавим на сковороде тушенку и опрокидываем туда свалявшуюся вермишель, а полученное странное варево распределяем по тарелкам. Хлеб ломается кусками. Опустошенные консервы вместо пепельниц. Пустые бутылки под столом. Кто–то просит включить «Разлуку»:

скованные одной цепью
связанные одной целью

— Все, как в старой доброй общаге! — радостно заявляет Дмитрий первый, роняя пепел на палас. А игра продолжается. Мне не везет: в борьбе забираю прикуп чаще остальных, но порою остаюсь «без лапы» — недобираю одной взятки. Так что мне пишется и в «пулю» (плюс), и в «гору» (минус). Бунинскому персонажу — практически только «в гору», его амбиции не отвечают его картам, к тому же он часто ошибается. Оставшиеся Дмитрии предпочитают не рисковать попусту: один в силу своего опыта, другой — в силу своей неопытности; они вистуют, то есть добирают взятки, оставляемые тем, кто забирает прикуп и ведет игру. Их барыши — на полях нашей сложной схемы, не в центре.

— Мизер втемную, — говорит пьяный и бесшабашный Дмитрий первый. Это значит, что он обязуется не взять ни одной взятки, то есть обратить мелочь, семерки–восьмерки, себе на пользу, в барыш. Но вот нюанс — «втемную» мизер играть не то что нельзя, а откровенно глупо: ты делаешь заявку, не видя своих карт. Естественно, заправилу преферанса подобные заскоки просто бесят:

— Дима, я сейчас запишу вот здесь сто рублей за вист, а ты уйдешь без штанов!

— А чё!

— В очо! Зачем играть козлячьи игры!

Игра закончена, идет подсчет очков. Сердитый и осторожный заправила выиграл, конечно, больше всех: его поля усеяны вистами. Я оказываюсь вторым: много рисковал, но, как оказалось, чаще удачно, чем неудачно. Остальные двое по итогам в минусе: один понятно почему, второй, новичок, говорит в оправдание:

— Я только под конец начал что–то понимать…

Да, так я обещал объяснить, почему больше десяти лет не играл в преферанс, и до этого–то сыграл лишь пару партий. Дело в том, что играть меня научили старшие товарищи, они тогда уже учились в институте и преферансом зарабатывали себе на жизнь. И для меня, старшеклассника, эти игры были — другой мир! Специфичный юмор, у каждого игрока своя манера, своя причуда… Вот мой визави в вязаном жилете, допустим, — дышит на стекла, — очки протирает? Нет! Это масонский знак, это значит, что ему ведома тайна жестов, что голос у него ровный и он все знает на свете! Я так их видел тогда…

А потом я как–то сел за один стол с ровесниками и понял, что там нет ничего, в этой игре — фуфло, тряпки. То есть только то и есть, что сама игра, и ничего больше, мы слишком плавно перешли от одного к другому, понимаешь, читатель? Я думал: ошибся с поколением, ходил к тем, старым, жаловался… Они не поняли — они ни в чем не виноваты! И мы — ни в чем. Ни сном, ни духом, ни рылом, ни ухом. Мы те же старшеклассники, ровным счетом ничего не знающие новички, разве что малость отупевшие.

Да какое право мы имеем тогда играть в преферанс!..

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И БЕЗ САХАРА

«На исходе недели спину ломит под вечер, на исходе недели целый день и под вечер — будто все дни недели, детка, громоздятся на плечи…»

Вы знаете, как ревет по ночам пустой холодильник «Саратов»? Он хрипит, стонет, трясется и опадает в конвульсиях… Он воет мстительно и зловеще, окутывая холодом половинку засохшего лимона и банку скисшего молока — два экспоната в грязно–белом музее бедности.

Идешь по улице и складываешь вирши: «Пусты мои карманы, без денег я совсем. Кругом едят бананы, и только я не ем.» И начинаешь завидовать неприхотливости бомжей: к их услугам переполненные мусорные баки всей цивилизации.

По чести, я не знаю, что делать в большом городе человеку без денег. Вот он стоит с полными сумками пустых бутылок перед окошечком киоска, где красуется веселое, яркое объявление: «Извините, у нас учет». Человек до слез зол, поскольку до другого киоска, где принимают бутылки, очень далеко, а здесь к тому же продают сигареты, на которые ему, после сдачи бутылок, денег точно хватит. Домой возвращаться глупо, таскаться со стеклотарой туда–сюда — тяжело; так и стоит он, вжавшись в дерево на автобусной остановке, чтобы дать какой–то отдых ноющим лопаткам.

Не сходить ли в гости? Но из трамвая тебя попрут контролеры. Правда, если человек действительно отчаялся, у него в лице появляется нечто такое, что способно даже контролеров отпугнуть — они проходят мимо, будто человек — невидимка, и он еще не торопится отойти и дать им дорогу. Ну, а что — в гостях? Тебя там досыта накормят… рассказами о том, что сынишку (дочурку) переводят в другой садик, подешевле; то есть тебе, конечно, и супу нальют, и хлеба ломоть в руку сунут, но полезет ли кусок в горло, если ты знаешь, что он и в этой семье — отнюдь не лишний?

Конечно, полезет…

Тогда понимаешь, что «жить за чужой счет», «заедать чужой век» — это не какие–то фигуральные выражения, а весьма точные формулы реальных ситуаций: вот кто–то — упирается, напрягается, крутится, живет; а ты рядышком херувимчиком присоседился и за красивые глаза свои требуешь его доли.

«То одно, то другое, то в долгах я по шею. То одно, то другое, но в долгах я по шею. Отдохнуть бы чуть–чуть, детка, только я не умею».

Это, конечно, вопрос гордости и самолюбия: жить ли на чужие случайные червонцы, которые не отдаешь, да обедать, как мушкетеры Дюма, по мамзелькам, или взять и обозлиться. Подойти и внимательно рассмотреть витрину коммерческого киоска: видишь, конфеты «Мамба», они сладкие и жуются, как жвачка, а ты их никогда не пробовал почему–то. Или яйцо шоколадное, «Киндер–сюрприз»: черт с ним, с сюрпризом, но вот эту скорлупку шоколадную очень нехило было бы прямо сейчас с хрустом сжевать. А вот зажигалки, а вот пиво «Балтика»… Бог ты мой, в жизни столько прекрасного, и стоит оно сущие гроши, только у тебя–то и их нет. Ну, так надо упереться самому: перестирать и заштопать оставшиеся носки и белье, побриться (не надо и крема для бритья — мыло сойдет), если от прежней хорошей жизни остался одеколон — наодеколониться, и выйти наружу. Если ты не дурак, не старик и не калека — работу ты найдешь. К слову, поиски работы куда тяжелее самой работы, так что долго искать — вовсе не значит продлевать свой вынужденный отдых…

«Я умею работать, я умею трудиться. Я умею работать и умею трудиться. И сегодня под вечер, детка, так и тянет напиться».

Нет ничего выше и чище того презрения, какое испытывает человек, только–только устроившийся на работу, к собственному вчерашнему унынию. «Ну вот, добился я своего, — размышляет он меланхолично. — Это что, великая привилегия — бананы жрать? Да они для того и продаются, чтоб такие, как я, их поедали гроздьями и созвездьями».

Я тут на днях решил пооригинальничать: купил кокос. Никогда не пробовал, а цена–то смешная: 5 тысяч. Спрашиваю у продавщицы, как с ним, кокосом, бороться, она не знает — тоже никогда не пробовала. Ладно, методом тыка…

Там у него три темных пятнышка на макушке, так я в одно из них нож всадил. Повертел, похрустел лезвием, выпил через образовавшееся отверстие сладкое кокосовое молочко (три глотка, не больше), но покоя не давала мысль, что и мякоть кокоса должна быть необычайно вкусна. Взял я молоток железный, долбанул по кокосу раз–другой — по экватору трещинка–то и зазмеилась. Дальше просто: крутанул скорлупу в руках, низ вправо, верх влево, и орех распался. И оказалось внутри темное волосатое яйцо, типа того, что в фильме «Чужой». «Ну, — думаю, — сейчас оттуда урод какой–нибудь выпрыгнет». Однако ничего оттуда не выпрыгнуло, а была там внутри действительно белая мякоть, и если разрезанный кокос подержать в холодильнике, она, эта мякоть, становится по консистенции как бараний жир, и можно ее взламывать и поедать чайной ложкой.

Теперь, стало быть, я кокоса отведал, могу что ни день напевать через губу: «И родина щедро поила меня кокосовым соком, кокосовым соком…» Но, между нами, — ничего особенного. Бананы вкуснее.

К чему это я? А к тому, что жизнь нам порою кажется до того неразрешимой задачей, до того преисполненной всяческих, но не нам предназначенных благ, что мы совершаем смертный грех — впадаем в уныние, вместо того, чтобы взять себя за шкирку и выпнуть в мир. Мир — у наших ног, он не так уж волшебно прекрасен, как нам издали кажется, но мы можем его взять, мы его заслужили. И это — всего лишь необходимое и достаточное условие для того, чтобы двигаться дальше.

«Развалясь на кушетке, говорить о хорошем. Обожаемой детке говорить о хорошем. Где же ты, моя детка, детка, где же ты, моя крошка…»

ПРЕДЕЛЫ НЕОБХОДИМОГО САМОУБИЙСТВА

— Ты, ты и ты.

— А можно я?

— Можно. Расстрелять.

Это, конечно, анекдот. А вот случай из жизни: дружная семья, муж и жена: работают в милиции. Муж дарит жене подарок на 8 Марта, да такой, что она супругом не нахвалится:

— Представляете, импортную кобуру подарил. Такую классную, легкую, под одеждой почти не видно…

Интересно, во что был завернут подарок, какими ленточками перевязан — голубыми? розовыми? И казенный «Макаров» лег в нежно поскрипывающую кобуру, будто всегда там и находился. Э–хе–хе, простые радости жизни… Однако праздники скоротечны, семейная жизнь темна и непонятна, и вот конфликт:

— Мой–то, гад такой, пошел на дежурство и мою кобуру надел!

Действительно, что за трансвестизм…

* * *

Мальчишками мы рассказывали друг другу очаровательную историю об убойной силе пистолета «Макаров», основанную на реальных фактах: как местный оперативник, задерживая рецидивиста, вынужден был стрелять на поражение. Пуля пробила бандитскую грудь, затем — двойную деревянную раму окна, пчелкой вылетела во двор частного дома, пронизала дощатую дверь сортира и застряла в его задней стенке. На фоне всех этих перипетий как–то стушевывалось сожженное, вырванное человеческое мясо, кровь живого человека уходила дымом в потолок… Это было примерно в те времена, когда мальчишки жарко спорили: доску какой толщины может разбить ребром ладони обладатель черного пояса по каратэ. А старшие товарищи рассказывали нам, на что способен кумулятивный снаряд при столкновении с броневой плитой. Нас интересовали чисто теоретические аспекты: возможные последствия различных механических взаимодействий. Пуля, нож, ребро ладони — это были метафоры: одним замахом, ударом, выстрелом изменить положение вещей в свою пользу, стать — хоть на миг — хозяином времени и пространства. Что–то подобное испытывал и

Александр Македонский, разрубая мечом Гордиев узел. В детстве я восхищался его поступком, сейчас думаю, что решительность эта — от трусости. От боязни развязки…

* * *

Я помню выскакивавшее из рубчатой коричневой рукоятки лезвие стропореза, двустороннее, плевавшееся искрами: стропорез привез с собой из армии старший брат моего друга, он казался нам ужасно взрослым. Я выпросил, просто вымолил у него голубой берет ВДВ, но надевать его при ком–то стеснялся: дома, перед зеркалом, лихо заломив на правую сторону и выпятив цыплячью грудь инфантильного подростка… О стропорезе же можно было только грезить…

Я помню свой первый нож — с длинным, узким и кривым лезвием, выточенный, как мне сказали, из куска самолетной рессоры. Купил за 15 рублей у знакомого панка, носившего маечку–сеточку с собственноручно вырванным воротом, мы с ним иногда глотали элениум, когда выпадала такая удача — фенобарбитал, запивая вонючим «Агдамом». Шалости детства… Нож этот, с тяжелой твердой рукояткой, был со мною добрых восемь лет, издырявил немало дверей, раскрошил, наверное, тонны хлеба и колбасы… «Ты его не свети, — советовал мне приятель–панк, такой же девятиклассник, как и я, но более достоверно имитирующий бывалого и взрослого мужика, — он мокрый…» То есть — кого–то этим ножом якобы убили. Может, и в самом деле убили. Я им никого не убивал. А потом мы с зятем поехали по грибы, и зять его где–то в лесу посеял.

Помню, как пришел зимой в школу, и было еще темно, и все за партами — парни, девчонки — ревели, кто тихо, кто в голос. У Наташки Русских, популярной девушки, в Афганистане погиб брат, нас после уроков повели на гражданскую панихиду, там я и увидел впервые цинковый гроб — со страшным мутным окошечком… Многие из нас впервые поняли тогда, что смерть — настоящая смерть — это тяжело, некрасиво, ужасно: не–вы–но–си-мо. И мы плакали — оттого что детство кончилось.

* * *

Что же до пистолетов, то впервые мне довелось близко, в деталях рассмотреть пистолет в апреле 1993-го, в славном городе Красноярске. И пистолет этот был направлен в мой живот. С тех

пор я чувствую острое отвращение к реальному огнестрельному оружию. Хотя, как все, не пропускаю сцены перестрелок в кино. И что бы там ни говорили наши милые патриоты, считаю, что фильмы, переполненные насилием, играют скорее благую роль: если насилие там изображено правдиво, художественно достоверно, оно никого не подвигнет на подражание исповедующим насилие героям. В каждом есть агрессия, а в некоторых ее очень много; стреляя в «плохого» вместе с «хорошим», ты разряжаешь не только чужой пистолет, но и собственную агрессию. И ты ужасаешься — самому себе.

* * *

Есть миллионы людей, до которых нам нет никакого дела, пока они не страдают явным и взывающим к сочувствию образом. И есть десятки людей, которым мы желали бы страдать, а может быть, и умереть. Но самим принимать в этом участие?..

Есть обстоятельства, когда ты вынужден стрелять или бить первым — ты солдат, ты давал присягу и знал, на что шел, и если не убьешь ты — убьют тебя, а этого допустить никак нельзя. Но это именно «обстоятельства», и ты именно «вынужден», и никакой особой правоты за тобой в этом случае нет.

Но когда абсолютно мирный человек «в целях самообороны» обзаводится газовым пистолетом, кастетом или баллончиком, мне всегда хочется спросить: «А ты представляешь, что будет после того, как ты ЭТО применишь?» То есть — вот перед тобой человеческое лицо (пусть самое ненавистное), глаза. И ты прыскаешь в эти глаза слезоточивым газом или паралитическим газом, или бьешь по ним заведомо вооруженной, заведомо подлой рукой: что происходит? Вы оба — уже не люди, вы вышли за предел человеческих отношений, и он имеет полное право на всю твою жизнь, потому что только что ты посягнул на его жизнь. И так оно и будет теперь до конца твоих дней.

ТВОИХ СТЕКЛЯННЫХ РУК ПРИКОСНОВЕНЬЕ

Жизнь без любви — нормальная жизнь. Миллионы людей живут именно так. Они особенно смешны, эти миллионы, когда играют в любовь. «Занимаются» любовью — в ожидании, пока любовь займется ими.

«Поговорим о странностях любви, другого я не смыслю разговора», — писал Пушкин. Что, действительно другой темы не нашлось?! Он же гений был! Сегодня у нас не то что гению — любому дураку ясно, что любовь — это что–то то ли возрастное, то ли болезненное, то есть — здоровые, активные люди этим не страдают. «Хорошая любовница» — подразумевается, высоко оцененная по общей универсальной шкале. «Хороший любовник» — неутомимый в постели, щедрый, веселый. Таких много. Можно выбирать, как в супермаркете.

Одна из «странностей любви» состоит как раз в том, что любовь отрицает всякую возможность выбора, зачеркивает оценочность, отвергает любое накопление, «приплюсовывание»: если бы к рассудительности такого–то прибавить темперамент другого и внешность третьего… Нет уж, полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Помню, как меня насмешил совет женам в каком–то дамском журнале: если ваш муж лысый, любите его лысину.

А ведь это поразительно верно. Вообще дамские журналы, должен сказать, — очень занимательное, душевное чтение. Ни Эдгар По, ни Оскар Уайльд не находили ничего зазорного в сотрудничестве с дамскими журналами. (Пушкин, ввиду отсутствия таковых в тогдашней России, свои лучшие стихи записывал в девичьих альбомах.) Там, конечно, много галантереи; но хотя бы портянками не пахнет. И там много говорится о вещах, о которых не принято говорить в суровом мужском мире — в суровом мужском мире принято говорить о триппере.

Порою кажется, что суровость эта — от какой–то давней, застарелой обиды на собственную обделенность, эмоциональную импотенцию: «Я же так не чувствую, значит, и никто не чувствует! Значит, врут, сволочи!»

«Мне не к лицу и не по летам… Пора, пора мне быть умней! Но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. При вас мне скучно — я зеваю, без вас мне грустно — я терплю… и мочи нет, сказать желаю: мой ангел, как я вас люблю!»

У Пушкина и друзья были — сплошь поэты. Врагу бы я не

пожелал таких друзей. Какие из них, скажите на милость, деловые компаньоны? Ни одного бизнеса, ни одной мало–мальски стоящей интриги с такими не скрутишь. Ни карьеры, ни денег, только вино да бабы, а они ведь, известно, доведут до цугундера.

Не хочу сказать, что каждый раз у него было «по–настоящему»: любой грамотный пушкиновед, в шинели с наганом, тут же сунет под нос, будто ордер на обыск, «Донжуанский список Пушкина» или его же «Тень Баркова». Но убили–то его по–настоящему; насмерть, так сказать, убили — и именно за это.

Был ли у него выбор? Выбор есть у каждого: жить как все. То есть — «перебеситься», а затем существовать безмятежно, сходясь и расходясь с людьми и б…ми (пардон, но словцо–то — пушкинское же), делать свое дело, осуществлять «проекты»… У тебя сразу же появляется куча единомышленников, суровых мужчин с пухлыми записными книжками: а любящий всегда одинок. Он не декабрист, не демократ, не патриот и не клеветник России: у него есть дела поважнее. Он живет «от принцессы до принцессы»; в промежутках — так, существует.

Любовь не есть нечто приятное, теплое; даже счастливая (взаимная), она не делает любящего счастливым — она всего лишь не делает его несчастным. Несчастен, когда идешь по улице, при деньгах и при деле, и вдруг понимаешь — кроме как по делу или с целью обмена (впечатлениями, любовницами, видеокассетами), тебя нигде не ждут и тебе никто не рад. Взвоешь…

Зато — не терзаешься дурацкими вопросами, ревнивыми фантазиями, не подкалываешь язвительно (как тебе кажется; как ей кажется — мелочно, по–детски): «А путешествие в Опочку? А фортепьяно вечерком?» А тебе ответ — другой цитатой по сусалам: «Ну что, поручик, опять деньги кончились?»

Зато ты душевно уравновешен и делаешь дело, и делаешь деньги. Ради чего только, ради Родины, что ли?

Зато ты не отвечаешь за другого человека…

Вот это, наверное, главное. Мы ужасно боимся ответственности за других. Себя–то мы знаем, в себе уверены — а что ему (ей) вздумается выкинуть? И надо будет защищать ее (его) от людей, чаще всего близких, которые при других обстоятельствах могли бы и дальше быть твоими партнерами по бизнесу или, на худой конец, друзьями. Приходится обособляться от мира, поскольку мир не очень–то благоволит к любящим: это секс может быть групповым, а любовь — вряд ли. Она, выходит, антиобщественна, антисоциальна. Семья — ячейка общества? Бедная семья…

Я видел, как перепивший упакованный мужик в ресторане орал со слезой: «Милая, приди и вытащи меня из–под всех этих баб!» Мужик вряд ли знает, что был такой испанский поэт Гонгора, но по смыслу они совпадают, два, стало быть, мужика: «…Вечно я готов в темнице злой разлуки ждать мгновенья, когда, услышав мой беззвучный зов, твоих стеклянных рук прикосновенье, о серафим, расколет сталь оков». Но уж Пушкина–то знают все:

«Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть это стыд и труд напрасный — и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь!»

Так давайте выпьем еще. За Александра Сергеевича.

И бокал об пол.

СОН КУРИЛЬЩИКА В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

И мнились ему прекрасные утопленницы со сверкающими, будто алмазы, каплями воды на бутылочно–зеленых телах. Они стояли грустно полукругом, и вода чуть колебала их волосы и перси…

Сон курильщика тревожен и безумен. Он прерывается кашлем, но длится — конвульсиями. Он ярок, как румянец умирающего от чахотки студента. Он пестр, словно лоскутное одеяло, оставшееся от ваших легких, ваших тяжелых легких.

Ребенок рождается с криком — курильщик просыпается с хрипом. Это не гриппозный хрип, щекочущий и преходящий: нет, в горле курильщика лязгают ржавые щеколды, и красная пыль сожженной плоти осыпается со шпингалет. В груди ползают огромные стальные лесные клещи, они наливаются кровью и ржавеют… Курильщик видит свои легкие — они словно разломленная оголодавшим бомжом буханка ржаного хлеба…

Он идет на кухню, последний герой, но не последний протагонист, и наслаждается оглоблей холодной воды из трясущегося от старости крана. Сна ни в одном глазу — сон в бровях, на кончиках ресниц: он облачком желтоватого дыма над воспаленным лицом кружит — и не снисходит. До утра пинать подушки кулаками, рвать на себе простыню, выкашливать (звучит как рыдание) собственную совесть, застрявшую где–то в бронхах…

Он еще вспоминает, как однажды в мае со своим ровесником вылез из больничного окошка, и гуляли они, распуская ноздри и пожирая сеткой нейронов целые флотилии запахов, пока рассвет в парке не окреп и не побелел, как по лицу ударенный лед… Воздух был, как мороженое, он таял под языком.

Теперь этого нет. В новый день входишь, будто в привокзальный туалет: э, да здесь уже все обжито! Как много людей до тебя вдыхали здесь одно, а выдыхали совершенно другое. Рассвет — бритвой по глазам, это Высоцкий пел, и все говорили, какой у него прокуренный голос, а ведь и правда — саднит…

Жилище курильщика. Шукшин — с трубкой, Есенин — с трубкой, Хемингуэй — с трубкой. Все черно–белые (земля, тело) и пожелтевшие. «Иных хоронили упаковки глазенок, иных хоронили упаковки газет». Мысли о смерти — не самое плохое; хуже — основание. Основание так думать: твое тело тебе не принадлежит, многому в нем ты уже не можешь командовать…

Жилище курильщика. Как подходит это «ище»: чистилище,

урочище, лежбище… Нечто, поросшее не то воспоминаниями, не то паклей и мхом. Обои в смурных желтых разводах: словно случайно где–то во сне кусок маргарина сползал по стене. В красном углу — копоть и повесившийся паучок. Пепел, въевшийся в поры коврового покрытия. Случайный окурок, виновато ткнувшийся в столешницу. Рыбки на полу, кошка в аквариуме…

Спина автобуса, уходя все дальше, уносит с собой твое разбитое дыхание, расколотое сердце. Самая короткая лестница заставляет твой кадык подпрыгивать от ступеньки к ступеньке. Когда ты целуешь, твоему мужеству сперва дивятся, затем противятся: визави заявляет, что для общения с тобой ей нужен респиратор. Или реставратор?.. Мелодия жизни неровно тянется на ноте «ре»: курение. На ноте «ку»: ку–ку.

Спина женщины согбенна: женщина плачет. Ты сметаешь ладонью с белой майки серый пепел и недоуменно смотришь в потолок.

«Может быть, ей подождать, пока у меня опухнут уши?..»

Кофе делает сигарету вкуснее, слаще, проникновенней, а кровь — солонее и гуще. В крови, будто гниющие бревна, плывут волокна никотина и чего–то приторно–зеленого еще. Кофе загоняет твой пульс в угол и плюет ему грязной пеной в лицо.

Сон… Сон пропал. Никогда и не было. Все это мифы, насчет снов. Чтобы человек вот так просто лег в постель, накрылся прохладной простыней (запаха которой он не чувствует, а ведь даже у самой свежей простынки есть свой, постельный запах), положил голову на подушку — и уснул? С чего вдруг? Он что, йог?

Нет уж, на самом деле в означенное время за изголовьем появляется некто с дубиной, обмотанной тряпьем, и мягко тюкает распростертого паломника в страну забытья по какому–нибудь виску. Странно, что каждый раз теряешь сознание примерно на одно и то же время.

А в обмороке тебе является небритый ангел из организации «Небеса против наркотиков», он курит сигарету «Мальборо Лайтс» и извилисто улыбается малиновыми губами. И мозг, поросший водорослью дыма и оттого получивший сходство с паросским мрамором, выдает тебе, засыпающему под грузом песка, островную цитату: «Я рыдал, потом затих, как ребенок… Сны струились с гор для горьких глаз моих». И ты хотел бы произнести «Киплинг» — это все равно что раздавить зубами карамель, — но твой язык присох к гортани, как осенний лист к асфальту, ты лишь мычишь и наблюдаешь сходящуюся за тобою тьму.

К утру курильщика овевает ветерком из распахнутой квартирным вором форточки, он вытягивается на кровати, словно отдыхающий Прокруст, и блаженно вздыхает. Курильщику снится, что прямо из его рта, из глубины души и цепляя корнями сердце, — растет чистое и свежее дерево. Оно роняет листья, как слезы, и освещает лицо курильщика естественным кислородом.

И в буйной листве его тяжелыми гроздьями висят сливочно–белые табачные фильтры…

КАЛЕКА ГУЛЯЕТ — ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

Чистота переживаний обратно пропорциональна их частоте. Все стирается от долгого употребления, даже грех становится почти добродетелью… Это–то и плохо: каяться не тянет.

А я вот нынче хочу покаяться, поскольку совершил нечто. На днях в чужой мир на полчаса контрабандою въехал.

У пожилой родственницы ноги болят, она всю жизнь на ногах проработала, вот они и болят. И вот несем мы ей трость, купили в аптеке. Гладкая такая палка, коричневая, с черным резиновым набалдашником и черной же рукояткой. Просто нести ее в руках — как–то глупо, и стал я этой тросточкой поигрывать, по асфальту стукать, да и решил хромым себя вообразить, калекой то есть, тем более по росту палка пришлась.

Идем. Я прихрамываю — и на тросточку, на тросточку опираюсь. Воробьиная какая–то походочка, смешная и жалкая. И начинаю взгляды прохожих на себе ловить. «Вот, — думаю, — ходил нормально, никто не замечал, внимания не обращал, невидимый я для них был, для остальных, здоровых этих…» Шаг–шажок, прыг–скок… А тут автобус нужный к остановке подкатывает, мы — бегом к нему, я — на трех ногах… В салоне же кондуктор балагурит:

— Покупайте билеты у меня, пока дешевые, а то у контролеров на остановке — по десять тысяч… Я «зайцев» насквозь вижу, они, как зайдут — сразу отворачиваются…

Освоились они, однако, поначалу–то робкие были, теперь же — хоть кондукторский фольклор записывай.

— Зайчики, на следующей остановке выходим…

Это — гопничкам джинсовым, моим ближайшим соседям. Гопнички, как положено, едят семечки, и сидит между ними, как лилия в крапиве, хорошенькая девочка с прилипшей к розовой губе черной кожурой. Глаза ее встречаются с моими — и вдруг она краснеет, бедненькая, и вспархивает:

— Садитесь, пожалуйста…

Что удивительно и трогательно: мальчики молча расступаются, дескать, садись, инвалид, чего там…

Сижу на мягком, запыхавшийся, краска в лицо ударила, не знаю, куда треклятую палку девать. «Ну что, кто ты теперь, придурок? — спрашиваю себя. — Жертва автокатастрофы? Ветеран Афганистана или Чечни? Урожденный урод, пальцем деланный?» Плохо все обернулось, заигрался…

Не то, что стыдно: если вы это так поняли, то поняли неправильно. Я именно попал в чужой мир, не заслуженный мною

и не заслуживающий меня. Я был таким же, как все, и вдруг стал отщепенцем, единственным против всех: и, не имея к тому оснований — реально — ровно никаких, я на несколько минут очень сильно невзлюбил прочих, здоровых, людей, в том числе и злосчастную бандитскую принцессу, освободившую мне место. «Да посмотри же на меня внимательней! — хотелось мне сказать — у меня же нога хромая, а не другое что–нибудь! Упрись ты со своей жалостью!»

Будь я настоящим хромым — хотел бы, чтобы мне уступили место? Да, но — как само собой разумеющееся, без сочувствующих гримас, без этих глазенок жалеющих: «Такой молодой…» Черт, люди пьют чужое страдание такими глазами…

Автобус вильнул толстым задом и выбросил меня на остановке. Приятели, весь путь проторчавшие на передней площадке, подошли и поздравили с актерским мастерством, и мы распрощались — трость осталась у них, а я отправился дальше, у меня была назначена встреча «под варежкой». Стою я там, курю и вижу: ковыляет в мою сторону какая–то тетка с палкой, и косит ее вполне природно, голова криво сидит. То есть калека настоящая, не чета мне. Ну, ковыляет, мне–то что. Вдруг тетка, передвигавшаяся довольно бодро, метрах в трех тормозит и начинает на меня пристально смотреть. И мне это почему–то чрезвычайно неприятно, до тошноты. Уличить хочет? Да нет, видеть она не могла, как я из себя инвалида корчил. И в чем, собственно, уличать? В том, что я, подонок такой, прикинулся больным, будучи здоровым? Ну, шалость, никого же я под этим соусом не надул, не нагрел. А она, знай, прохаживается на воробьиный скок вправо–влево: шаг–шажок, шаг–шажок… Денег ей дать? Так я не подаю никогда, даже если просят, а уж без просьбы…

Я не понимал ее глаз. Я их видел, да. Это были глаза больного существа — и чужого существа, не человека. В глазах не было никакой эмоции, ни отблеска интеллекта. Пустые недобрые стекляшки с черными точками зрачков. Одежда не самая дешевая, но засаленная. Шаг–шажок…

И вдруг она развернулась, словно увидела кого–то, и заскакала к вокзалу, на свой птичий лад. Еще на ходу зыркнула в мою сторону — и вот пропала совсем, затерялась в толпе.

Тут я понял, как долго держал в груди один и тот же воздух.

Происшествие это меня действительно до крайности поразило, потому и каюсь, и исповедуюсь. Есть несколько догадок насчет меня и тетки, самая реалистичная из них такая: я захотел стать чужим для людей и тут же — тут же! — стал им на самом деле, что чувствуется. Тетка же моментально разглядела во мне

родственную душу, «своего».

Есть и другие догадки, похуже…

Это, если угодно, притча. Понимайте ее, как хотите, я только от одного хочу предостеречь: не стремитесь стать чужим для людей, потому что, едва вы это сделаете, даже понарошку, вам моментально сыщется совсем другая компания…

СЕМЬЯ: ДВЕ РЫБКИ ПОД ЗОНТИКОМ

— …Ну вот, еще один попался в ячейку общества. Тащи его на берег, Вань, чичас поджарим.

— Да пусть поплавает…

И ангелы отлетели от воды, подрагивая алмазно–перепончатыми крылышками. Так получилась семья.

* * *

Встречаешь знакомого подначкой: «А чего это ты не развелся до сих пор?» Он обижается, ровесник твой ответственный.

— Так ведь все уже развелись!

Дама в ЗАГСе, задумчиво глядя на брачующихся:

— Развелось вас тут…

Все верно — хоть пруд пруди.

Вот Премудрый Пескарь. Он почему и Премудрый — дом никогда не покидает. Живут счастливо — и это, в один день… А вот Карась Идеалист. Разведен, и глаза спохмела багровые. Тоже счастлив, хотя и не вполне удовлетворен:

— Все икра да икра… Хлеба хочу!

Хлеб ваш насущный дал вам днесь — и ведь вернулось сторицей: в аккурат на ушицу. Я-то кто? Любитель половить рыбку в мутной воде; проще говоря, ловелас. Но это — между нами, как крючок с зазубринкой…

* * *

Ну что, идете дальше гулять по воде со мной? Осторожно, ступенечка… Социальное положение обитателей водного мира отчетливо различимо даже на большой глубине: тебя либо взяли за жабры, либо вот–вот возьмут. А если мы наконец–то вынырнем из метафор, да поговорим «о семье» без дураков (то есть, тет–а–тет, читатель), серьезно поговорим?.. Вы меня самого не зажарите?

В общем, так. Схема проста, как невод. Человек рождается, развивается, аккумулирует знания и впечатления, страдает и болеет (и все — впервые): идентифицирует себя в этом мире как нечто отдельное и уникальное. И вот, когда он достигает полного расцвета своей личности, своих способностей и возможностей — а происходит это где–то на третьем десятке, — его, как

динамитом, оглушает мысль о потомстве, об уюте и очаге уюта. Человек, в общем, женится. Или, если это не совсем человек, — выходит замуж. В общем, обзаводится семьей, в глубине души надеясь на тихую заводь, в которой–де черти водятся. На самом же деле от чертей там только рожки да ножки…

Итак, идея нам ясна: свистать всех на нерест, пока в одиночестве своем не замерцали фосфором революций. Самый верный способ обезвредить молодых активных людей — окрутить их семьями, поскольку, знаете, революции всякие бывают. Всякие — не всякие, но совершаются они одиночками, всегда одиночками, а надо думать о благе общества, надо думать. В результате юные красивые женщины, которым бы роман за романом закручивать, будто банки с солеными огурцами, бить сердца, как посуду, и оставаться в веках, — эти, говорю я, красотки приземляются между кухней и гостиной, периодически беременея и разрешаясь от бремени.

— Я здесь, как за каменной стеной! — хвалился зэк прохожим…

В результате молодые мужчины не едут ни на БАМ, ни в незнаемое, они обрастают квитанциями, нотариальными свидетельствами, традициями и линолеумом. Они становятся ответственны перед обществом, а деньги — этот символ свободы, — в их случае данную ответственность лишь усложняют, дифференцируют. То есть, появляется необходимость вести определенный образ жизни, а откуда его вести — тебе предки подскажут.

И вот ты в расцвете сил, твое творчество на подъеме, дело налажено, тело послушно: но тебя уже нет, ты спекся, ты — семя, брошенное в землю, и тебя самого уже засыпают землей. В каменном веке мало кто дотягивал до тридцати; потом продолжительность жизни увеличилась, и пришлось изобрести семью.

* * *

Но еще остается последнее утешение, сладостный миф: да–да, об «очаге». Что вот–де, снаружи дождь и слякоть, житейские треволнения и начальственный разнос, криминал жует жвачку и пускает кровавые пузыри, у детства за пазухой клей, а на губах — молочко от бешеной коровки… и лишь у нас, дорогая, покой и тишина. Аквариум, нирвана…

Позвольте две цитаты.

«Тут за день так накувыркаешься, придешь домой — там ты

сидишь!» (В. Высоцкий).

«Он добавил картошки, посолил — и поставил аквариум на огонь» (М. Жванецкий).

Нельзя жить в обществе жены и быть свободным от общества тещи. Это первый этап обобществления. Второй: дети. По плодам их узнаете их, то есть — каков поп, таков и приплод, то есть дети — ваше будущее…

И вот когда они начнут подрастать и резвиться, вы только и сможете, что рот открыть: это на экране «Сони» все такие красивые…

Остается выброситься на берег. Не дожидаясь стрекоз.

МОИ ДРУЗЬЯ — ВОРЫ-РЕЦИДИВИСТЫ

Они всегда являются позже оговоренного времени и в большем количестве, нежели то, которое ты настроился переварить. Ожидаешь одного — приходит трое, ждешь троих — приходит пятеро. Если среди них есть девушки, то они уже принадлежат кому–либо из гостей, что, конечно, стратегически правильно, но тактически — очень печально (бывает порой).

Лучшие из них приносят с собой еду.

Худшие — выпивку.

Звонок в четыре часа утра: «Андрюха, мне вот, понимаешь, не спится, решил с тобой поговорить». Я, наверное, должен заплакать от счастья — ведь не кому–нибудь, а мне звонит этот лунатик!

Краткое и сухое: «Ты дома? Я сейчас приеду». Короткие гудки. Беспроигрышный вариант. Спешно разгребаешь завалы всякого хлама, подметаешь, переодеваешься, ставишь чайник… никого нет. Ни сейчас, ни через час, ни вообще. На следующий день приятель со странной и загадочной усмешкой сообщает: «Извини, не получилось». И ведь действительно чувствуешь себя задетым, обойденным, как будто это ты его зазывал неделями и месяцами!

(Тот же вариант — на работе. Кто–то, едва знакомый, подходит, дружески треплет себя по плечу и говорит: «Слушай, я в вашу газетку что–нибудь напишу». Но не напишет. Будет очень извиняться при каждой встрече…)

Вот хорошая фраза из американских фильмов: двое только что чуть не убили друг друга, но патроны кончились, и один говорит другому, тяжело дыша и улыбаясь: «Мы по–прежнему друзья?..»

Может быть, мы разберемся наконец с этим термином?

* * *

В июне 1996 года мы трое — провинциальные журналисты — интервьюировали в Москве Александра Лебедя, тогда еще (или — и тогда уже) кандидата в президенты. И я спросил, стараясь придать непринужденность разговору, про недолговечного союзника Лебедя — Юрия Скокова: «Александр Иванович, какого черта вы с ним связались? Очков он вам явно не прибавил…» И Лебедь ответил тогда: «У вас в жизни бывали трудные времена? У меня — были. И Юрий Васильевич был единственным, кто тогда

подал мне руку помощи». Это было хорошо сказано, по–мужски. Лебедь не вдавался в мотивы Скокова, он просто чувствовал себя обязанным и возвращал долги, как умел. Сейчас, судя по всему, Лебедь изменился, но почему мы должны судить о человеке, какой бы высокий пост он ни занимал (или — с какого бы высокого поста ни слетел), в зависимости от обстоятельств и каждый раз — заново? Давайте помнить и то хорошее, что в нем было и проявлялось.

Что же до меня, то «трудные времена» настали буквально по возвращении из Москвы. И телефон мой молчал тогда неделями. Я искренне завидовал тем, у кого нет телефона, кто не обречен на эту пытку — ждать звонка от кого бы то ни было!.. С приглашением пообедать, например…

«Так КТО познается в беде? КОГО познавать? КУДА они все подевались?!» — вот какие вопросы я задавал своему молчаливому телефону. И ведь, правда, нашелся один человек… Человек? Женщина. Она кормила меня супом время от времени и занимала мне денег (я потом, конечно, отдал). Мы редко видимся в последнее время, увы. Мы — друзья…

* * *

Конечно, «всегда быть одному — слишком много для меня, все один да один — это дает со временем двух…» (Ницше). И так у человека, неважно, насколько он отшельник (мы все в разной степени отшельники), появляются собеседники, знакомые, приятели. Люди, которым что–то надо от тебя и от которых что–то надо тебе. Беспредметного приятельства не бывает: это либо любовь, которую мы здесь в расчет не берем, либо «синдром Манилова» — клинический случай, вата в шоколаде. Данный принцип взаимообмена можно обозвать как угодно: «око за око» или «ты мне, я тебе», или, по Ньютону, «действие равно противодействию» — сути дела это не меняет. Если ты оказываешь человеку услугу, ты вправе ожидать ответной услуги с его стороны. Мы и живем–то благодаря взаимным услугам, и чем их больше — тем теплее и уютнее жизнь. Соответственно подбирается круг приятелей — людей, с которыми тебе интересно и полезно общаться, проводить время, обмениваться информацией… И уже не кажутся снобистскими фразочки типа: «человек не моего круга» — ну, если это действительно так! Если человек хочет от вас какой–то услуги, предъявляя на то очень странные права (пили вместе в 1989 году или — «тоже жена ушла»), но ничего не предлагается взамен, будьте настороже:

сейчас начнутся толки об истинной мужской дружбе! Само слово может быть даже не произнесено, оно подразумевается: мы друзья. Как «друзья», почему «друзья»? Так и хочется воскликнуть:

— Господа, здесь играют краплеными картами! Мне подсовывают чужую задушевность, которой я вовсе не просил!

Да–да, подсовывают задушевность, или комплимент, или честные глаза — а взамен–то просят от тебя конкретных денег, времени, вещей, поступков…

А, бесполезные возгласы. И тон дурной — нынче моднее иметь друзей (во всех смыслах), чем не иметь их вовсе. Так что я прошу не воспринимать все сказанное выше очень уж всерьез — это не про вас, друзья мои, это совсем–совсем про других людей, вы их не знаете, они не нашего круга…

Один из них вчера до двух часов ночи рассказывал мне, попивая пиво, с каким количеством женщин переспал за последний месяц. Ему хорошо, он — безработный…

«Друзья — воры времени», как хорошо сказал один нехороший ирландец.

И они всегда возвращаются на место преступления.

Но почему бы их не посадить за решетку…

ТРОНУТЫЙ ОТ РОЖДЕНИЯ

Уже на рассвете он выследил последнего таракана и раздавил его монаршей пятой. Из дырок душа лился остывший кофе. Наволочка, набитая свитерами, скорчилась под мокрым шаром королевской головы. И наступило утро.

Королева звенела ложечкой о края стакана в купе скорого поезда, навсегда уходящего на запад. Чай в стакане багрово улыбался.

Принцесса сидела на чистеньком желтом унитазе в тесном туалете своей комнаты–квартиры, уронив похмельную голову на колени. Спутанные темно–русые волосы висели перед глазами.

Принц подивился прохладе и запер цветочный киоск, который охранял по ночам.

Будущий босс свинтил пробку с потной бутылки «Обуховской» и приложился, левой рукой гладя себя по голому волосатому животу.

Все обрастали деталями, входили во множества, совершали взаимно согласованные действия. А безработный король спал на скомканных свитерах.

* * *

Будучи изгнан и заточен в своем изгнании, по ночам он сочинял театральные монологи, долженствующие подчеркнуть его значительность и, так сказать, непреходящесть. Дело в том, что с малых лет он понял одну простую вещь: быть королем — вот единственное поприще, достойное человека в этой жизни. Если ты не король — ты вообще никто. Но если ты король — это заметно сразу. По твоим рубашкам, по твоим милашкам… По твоим повадкам и неполадкам. И уж никакого значения не имеет, кто ты официально, в миру — официант или, например, бродяга.

— Так и вижу какого–нибудь придурка–психотерапэвта, — злобно говорил он этой ночью потолку своей спальни, — какого–нибудь хмуро–серьезного или, один черт, цинично–веселого социолога–затейника, качающего головой: «Шизофрения, как и было обещано…» Милок, а кто ты такой, чтобы судить обо мне со своей лекарственной колокольни? Что ты ЗНАЕШЬ, чего ты ДОБИЛСЯ? Чего добиваешься сейчас? Что ты любишь, а к чему просто привык? Что ты ненавидишь, а чего просто боишься? Расскажи мне о себе, и мы поспорим, кто из нас более нормален — я, воображающий себя королем, или ты, тянущий до старости

ебливым ухоженным клерком. Я и в подлой жизни высокомерен и неприятен, как любой король, и нет человека или Бога, на которого я бы смотрел снизу вверх; ты и в самых буйных фантазиях своих утеплен женщинами и друзьями, а поверху для верности обит суконной традицией: потому что без этого ты зябнешь, без этого ты — слякоть…

Его собственное настоящее было, конечно, согрето — отсутствием чужого льда. Уже нечего разбивать между собой и другими людьми, уже все разбито…

Что же, есть повод пить коктейли со льдом.

* * *

Принц, принцесса и будущий босс встретились на условленном крылечке, пообедали вместе и договорились его доконать.

Принцесса позвонила и сказала, что больше звонить не будет. Еще — что у нее жутко болит голова и что она сожалеет о случившемся.

Принц погромыхал в железную дверь и сунул открывшему в нос флакон покупного одеколона. Цветы же только показал, достав букет из–за спины, и тут же, выйдя на улицу, растоптал тяжелыми лесными башмаками. На асфальте остались цветные пятна.

Будущий босс прислал деловую документацию и в сопроводительной записке сухо уведомил, что с сегодняшнего числа король принят на службу в качестве шута.

Король побрился и погладил единственную в своем гардеробе цветную рубашку…

* * *

Ничего не получается. Выдумать можно что угодно, и вариативность делает выдумку бессмысленной. Принцессу можно утопить в унитазе, а принца сделать будущим боссом — толку–то что? Реально же НИЧЕГО не происходит, все только тянется, рвется и путается. То, у чего можно вычленить начало, середину и конец — неинтересно, потому что незначительно. По–настоящему значительны ПЕРЕМЕНЫ, происходящие с людьми и в отношениях между людьми, но как их передать? Просто зафиксировать разницу множества показателей? Это похоже на построение параболы, отдает алгеброй, мелом скрипит на зубах…

А между тем перемены действительно есть, и перемены убийственные, обескураживающие, уничтожающие. Особенно если учесть, что во всем уже написанном не содержится ни грамма выдумки.

* * *

Скорый поезд, в котором на запад ехала королева, упал с моста в реку. Река багрово улыбнулась.

И время потекло вспять.

РАД БЫ В АД, ДА НЕ ПУСТЯТ НАЗАД

Попадешь на жернова железной мельницы, измелют твою душу в муку неведомого сорта. Корми потом убогеньких облатками да таблетками: «Это плоть моя…»

Плоть от плоти, кровь от крови — врозь, и началось: Адам любил Лилит, но она рожала ему демонов; Адам любил Еву, но она ела его яблоки. Не везло мужику с бабами. Зато детки пошли — хоть куда; младшенького Авелем звали…

Его, наверное, дразнили: «Авель–щавель». Кто дразнил? Ну, местные мальчишки, шпана. Демоны Лилит. Косоглазенькие, лопоухенькие, шепелявенькие…

Человеческая история — история высокомерия и предательства. Адам и Лилит; Каин и Авель; Юдифь и Олоферн; Давид и фараон; Иуда и Христос. Вернее, так: Иуда, Христос и Пилат. Некто третий, который «ни при чем» и «по ту сторону». Сегодня Пилат сказал бы Христу: «Это твои проблемы». Или: «Это не моя головная боль».

Долгое время такой подход казался мне единственно верным. Зачем подавать милостыню занюханным мальчишкам? Пусть озлобятся, вернее выживут — ведь мир зол.

И невдомек, что они уже — озлобились. Иди–ка сам попроси…

Но зачем — сострадание? Деревья не соболезнуют пенькам, здоровые крысы рвут больных на паштет и холодец. «Девятка» влетела передним колесом в открытый люк на перекрестке, водитель «Москвича» цепляет к бамперу трос и ухмыляется: «Лобовое полетело…» Это — мелочи; когда в центре города расстреляли инкассаторов, проходящие трамваи кренило в сторону огромной лаково–багровой лужи на асфальте — пассажиры прилипали к окошкам и сострадали комариным шепотом. Боль утраты: «Наливай еще по одному, ведь он не вышел, он совсем ушел…» Боль заливается водочкой, сверху посыпается свежепорубленным лучком, и — эх! отлегло, кажись… Однажды я был на похоронах приятеля: на обратном пути в автобусе травили анекдоты и обсуждали, какая будет кутья. Больше на похороны не хожу. А на свадьбы не зовут. Да ведь и свадеб уже не играют…

История человека — история преданного доверия. Родители выпихивают в мир, мир выпихивает в ад. Или в рай — если не сопротивляешься. И никто не запасается временем и терпением, чтобы толком тебе объяснить предстоящее. «Сынок, мы на тебя возлагаем…» Благие намерения — вот что они на тебя возлагают.

Как вериги. Они не любят тебя — они дышат тобою, живут тобой. Они зажились на свете…

Был паренек, с детства весь из себя олимпиец — первые места на олимпиадах по физике, химии, литературе… Никак не мог определиться, что же ему больше всего любо–дорого; потом определился — «Анапа» из ларька. Так бы и пил до сих пор, из принципа: «Россия к чертям катится, а мне карьеру делать?!» Да однажды глянул в зеркало — а оттуда Понтий Пилат зыркнул, будто по сердцу жидким азотом. Умыл руки, лицо умыл, причесался… Мать теперь невестке пеняет:

— Как уехал в другой город, будто подменили его. Такой ласковый был мальчик, такой хороший…

— Когда, мама? — встревает нервно курящий у окна ренегат. — Когда меня соседи с верхнего этажа приносили?

Он там спал, за трубой мусоропровода… В мелу открытий… В пылу демисезонного запоя…

Он был тогда честным. Его все любили. Теперь любит только жена. Но боится говорить об этом вслух: любовь зла…

Зачем — страдать? Каждый раз прилепляешься к человеку, а потом из тебя будто ребро выдергивают раскаленными клещами. Рождаешься один и умираешь один, что толку — по дороге связываться? Слепой везет кривого на плечах, сучок выбивает поводырю последний глаз:

— Приехали.

— Здравствуйте, девочки! — щерится слепой.

«И вдруг колокола, взорвавшись в диком звоне, возносят к небесам заупокойный рев, как будто бы слились в протяжно–нудном стоне все души странников, утративших свой кров…» Душка Бодлер, сластолюбец–монах, преданный матерью и друзьями. «Тогда в душе моей кладбищенские дроги безжалостно влекут надежд погибших рой — и смертная Тоска, встречая на пороге, вонзает черный стяг в склоненный череп мой».

Но их не помнят. Злых поэтов не помнят. Разве что другие злые поэты. Был чудесный поэт Ходасевич, но кто ж из него что–нибудь прочтет шепотом, на скамеечке, в дыму и сладком безумии цветущих яблонь? «Я здесь учусь ужасному веселью — постылый звук тех песен постигать, которых никогда и никакая мать не пропоет над колыбелью». Да, мамы нам пели совсем другое… Мороз и солнце — день чудесный, зима — крестьянин торжествует, мой дядя — самых честных правил… Школьная программа. Потом телепрограмма — обводишь кружочками обреченные часы своей жизни, — а на последней странице некролог. Примерно следующего содержания: «Никем, ничем он не бывал, вне позы — не существовал. Лежит он бессердечным

прахом: успех — сполна, провал — с размахом!»

И, если вы по доброте своей беспечно полагаете, что это уже итог, то вот вам еще цитатка из одной черной тетрадочки: «В клочьях они привели его, как после игр и драк, крича: «Он душу потерял, не знаем, где и как! Мы просеяли много газет, и книг, и ураган речей, и много душ, у которых он крал, но нет в нем души своей. Мы качали его, мы терзали его, мы прожгли его насквозь. И, если зубы и ногти не врут, души в нем не нашлось.»»

А где ж вы раньше были, черти…

ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ — ЛИШНИЕ ПОВОДЫ

— Видишь, гороскопы говорят: на самом деле мне нужен меценат и покровитель.

— Ну, тогда шасть отсюда, чтоб духу твоего не было.

Вот и поговорили.

Половина нынешних разговоров — об астрологии. Повесить бы того древнего араба, который все это затеял.

* * *

Расписывал новую ручку, отвлекся, глаза поднял — пока думал, чернила кончились.

Хорошие ручки расписывать не надо, но они денег стоят. Все хорошее стоит денег. Кто сказал, что женщины — исключение? Тоже ручки, тоже ножки… и тому подобное прочее. Так кто сказал «Ноу»?

А есть такой Вадик. Никому не меценат и ничей не покровитель, хотя по голове погладить может. Посочувствовать, колыбельную спеть…

Вадик люто уважает пельмени, и они в морозилке его старенького холодильника не переводятся. Но он их не покупает.

Когда Вадику случается приболеть, от сестер милосердия отбою нет, причем наиболее часто предлагаемая панацея — «грелка во весь рост». После болезни Вадик, натурально, выглядит куда более изможденным, чем до.

Помимо всяческой провизии, Вадику дарят различные предметы одежды, интересные книжки, аксессуары, мягкие и твердые игрушки… Ссужают деньгами…

Его гостьи нимало не интересуются кредитоспособностью хозяина, знаком Зодиака, социальным положением, творческими планами и прочими частностями. Им наплевать, есть у него работа или нет. Они любят его таким, какой он есть.

Как же он этого добился?

А он этого и не добивался вовсе, в нем это заложено природой и воспитанием: он просто относится к женщинам по–свински. Он их любит — всех и слегка. Если женщина ему надоела, он ласково попросит ее уйти. Если не поняла — выгонит. Или высмеет. Господи, это же так легко — высмеять женщину, любую женщину, которую не любишь!

Английская разведка в свое время дала эсеру Савинкову такую характеристику: «К женщинам эротически равнодушен, но

они являются пунктом его обостренного честолюбия». Ну вот, наш Вадик к женщинам только эротически и не равнодушен, а в честолюбии Савинкову не уступит. «Раньше брал количеством, теперь борюсь за качество», — говорит мне Вадик и смотрит прямо в глаза.

* * *

Из подслушанных разговоров одноклассниц узнал еще, какими, оказывается, Ромео были мои ровесники, какими добрыми, душевными мальчонками — надо же, а я-то считал их просто скотами… «Андрюшка вчера прибегает…», «Витенька подрался», «мы с Сережей…» Так бы и думал, что проморгал сверстников, не разглядел под гопницкой (я в гопницкой школе учился) личиной — но, на беду своей душе, я все эти love stories знал и с другой стороны: сами же Андрюши, Вити и Сережи, погогатывая, рассказывали. Только вот цензурных и приличных слов в тех историях не было совсем — жаль, процитировать не могу…

— Ты думаешь, очередное романтическое приключение пережила? Да тебя просто трахнули и спасиба не сказали, в тебя высморкались и забыли об этом, как забывают о грязном носовом платке…

Нет, жалко вы будете выглядеть, подобными моралями грузя своих любимых, которые — ну, до того они честны и откровенны! — ничего не желают от вас скрывать… утаивать…

* * *

Если ты хочешь от женщины ребенка, ты не должен быть ребенком с нею. А ведь искушение велико. Подурачиться. Обидеться ни за что. Надуться.

Но это слабость. Мужчина, в их представлении, не должен быть слабым. Сказать некие заветные слова он может лишь лет через пять после первой ночи вместе; вообще — не болтать, не интонировать, говорить сурово, скупо, чуть насмешливо. Выполнять больше, чем обещать — сделать это тем легче, что обещать вовсе ничего не надо. Напротив, пусть ОНА чувствует себя кругом обязанной и кругом виноватой.

— Ты скучал без меня? — спросила девушка в телевизоре.

— Нет, — ответил Ален Делон.

Кстати, он все еще говорит по–французски.

* * *

Они утверждают, что хотят уважения, понимания и любви. Они лгут — вам или себе. Они хотят непросыхающего «Сережу», который двух слов не свяжет без мата, зато у него «такие глаза»… Любят они «Вадика», который при малейшей попытке предъявления каких–то претензий накидывает им на плечи их же курточки–плащики–шубки и выразительно говорит: «Дорогая, мне кажется, тебе пора домой, к мужу». А уж за кого они выходят замуж, и вовсе отдельная история.

Они глупы, высокомерны и жестоки. Не все, конечно; только лучшие из них. Прочие еще и неудачливы.

К сожалению, нам попадаются лучшие.

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ, НЕЙРОЛЕПТИКИ И АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Благословенна будь, фармакология! Нет границ меж добром и злом, одиночеством и войной: есть лишь определенный цикл принятия успокоительных пилюль и связанные с употреблением последних побочные эффекты: по эффекту на аффект.

Ты думал, у тебя неразделенная страсть и неуемная гордыня? Думал, что мнителен, зол и гневлив, и потому страдаешь? А у тебя просто маниакально–депрессивный психоз (прими таблетку), обусловленный материально–денежными трудностями (ляг на кушетку), да гнилая подсознанка и некоторые признаки паранойи — впридачу.

С психозом мы бы расправились в два счета, все твои тревоги и страхи не стоят упаковки тазепама. Главное — упаковывать себя по науке, через два дня на третий, за полчаса до поедания йогурта, это тебе не юность маргинальная, сопливая, венозная: «закинулся колесами и ласты склеил». И такая поговорка: «Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз,» — нам теперь тоже не вполне подходит, поскольку мы теперь живем в здоровом, спокойном, улыбоглазом обществе и химически твердо знаем: принимая каждый день по микстурке, быстро избавляешься от мысли ошарашить себя однажды стаканом толченого снотворного. И так мы меняемся, мы меняемся в лучшую — от центра — сторону, и недалек тот час, когда антидепрессанты, нейролептики и транквилизаторы всех нас превратят в антифашистов, нейрохирургов и трансвеститов… Но дело осложняет паранойя.

Паранойя — и сопутствующий ей «грандиозный бред собственного величия». Пока он тебя не обуял, ты, конечно, мелкая невротическая сошка, с которой семеро смелых нянек посчитаются не глядя. Но закоренелый параноик рожденным ползать себя, гаденыш, не ощущает уже, фармацевтика его не берет, зонды и зонги он выплевывает, как вишневые косточки, и главное — мнит себя невесть кем. И картина мира, сложившаяся в параноидальном сознании, настолько прекрасна и ясна (хотя это как посмотреть; с другой стороны, напротив — запутанна и мрачна), что эти вот убийцы в белых халатах, с холодными ушами и стетоскопами, могут выступать разве что в качестве экскурсоводов: «Художник нам изобразил глубокий обморок сирени, и красок звучные ступени на холст, как струпья, положил». Художник вам и не такое еще изобразит: обморозитесь.

Солидный справочник по психиатрии вякнет басом: параноидальный бред рассеянию не подвержен, убедить больного, что он заблуждается, практически невозможно. С точки зрения параноика, сам убеждающий — либо в заговоре с остальными, либо дурак, не видящий очевидного и не слышащий ухослышного.

«Я велик, и за это меня преследуют»; «враги желают моей смерти»; «жена мне изменяет каждый день и подает любовнику знаки из окна гостиной». Ну, разве это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не так? Всё так…

Вы — вот вы, вот ты! Ты никогда не желал смерти своим врагам? Тогда почему ты думаешь, что мои враги не желают смерти мне? Хотя бы иногда… если случай представится… А он представится, еще и телефончик оставит: «Звоните в любое время. Стучите всегда».

Бред телефона, телефона молчащего и квакающего, икающего, пьяного, разъединенного, разбитого, задавившегося собственным шнуром… «Молчи, проклятая шкатулка!» — и через паузу: «На дне морском цветет: прости!»

Любой, молящий о прощении в пустынном помещении, — заведомый параноик.

Вы давно были в церкви?..

* * *

Она ушла. Он ушел. Все, начинавшееся, как слияние, кончается вспышкой. Стоящий далеко от нее, ты еще жив — но ты уже мертв. Радиация долгой разлуки: выпадают волосы и воспоминания, ногти стеарином стекают на фотопортрет, свет гаснет, газ светится… Рядом с этим домом стоял человек; вот его тень на фасаде. Думаешь, что горячо целуешь в губы, а на деле бьешься головой об стену, и кровь заливает тебе глаза.

Воображаешь ее с кем угодно, только не с подругами или родными. Иной раз и подруги бывают такие, что… Места себе не находишь — балкон, кухня, снова балкон. Голуби, сволочи. Почему «сволочи»? Потому что паранойя у меня, и маниакально–депрессивный психоз на верхосытку.

— А если это любовь?

— Ну, ты–то хоть, Отелло, не подкалывай…

* * *

Из истории выздоровления: «Пациент подолгу молчит, на любые просьбы огрызается, читает детективы и биографии вождей. По утрам пьет ананасовый сок, часами занимается гимнастикой, принимает контрастный душ. От кофе отказывается, утверждая, что «кофе омрачает». В ходе краткой беседы удалось выяснить, что себя он считает существом способным и перспективным, но эмоционально черствым, даже бездушным, хотя в принципе доброжелательным. На вопрос о степени и характере полового влечения ответить отказался, заявив, что это не имеет значения и является вмешательством в частную жизнь. Спит много и крепко. Аппетит вялый, но постоянный. Стул твердый, регулярный. Рекомендуется: выписать пациента к чертовой матери и не морочить мне голову.

Франкенштейн».

СМЕХ УМИРАЮЩЕЙ НАДЕЖДЫ

Мы покончили с надеждой,
Мы погибли для любви,
Из сердца совесть выжгли мы дотла.
Мы на муки променяли
Годы лучшие свои:
Спаси нас Бог, узнавших столько зла!

Киплинг

Надежда — хороший завтрак,
но плохой ужин.

Бэкон

Есть пессимисты и оптимисты, экстраверты и интроверты, счастливчики и неудачники, идеалисты и материалисты — нет лишь тех, кто вовсе не надеялся. Не уповал. Не держал на чердаке сознания своего белого голубя.

«Вся жизнь впереди — надейся и жди!»

Сейчас звучит издевкою, а в детстве не звучало. Мир был туманен. И не от того, что сладостные слезы застилали глаза: он реально был размыт, многовариантен. Разве можно было в первом классе заурядной средней школы сказать, что из кого выйдет? А уж самому первоклашке хотя бы приблизительно обрисовать свое будущее и вовсе не под силу.

В детстве ВСЕ может быть.

Дети еще не знают, что есть успех, карьера, достаток, досуг, любовные утехи, семья, дети. Они не считают это важным, их туманное сознание совсем другими вспышками пронизано, иного света — нездешнего. В словах это передать невозможно. Может быть, единственное подходящее слово — бессмертие.

Потом оказывается, что люди умирают. («Но я-то не умру.»)

Мой одноклассник занимался парашютным спортом. На десятом прыжке парашют не раскрылся. Девятый класс. Похороны. Школьный двор переполнен. И переполнившие его сами полны не горем — страхом. Он, из хорошей семьи мальчик, к девятому — своему выпускному — классу так и не успел познать женщину. Он много чего не успел, много чего ждал. Умирая в свой черед, я вряд ли буду счастливее его.

К окончанию школы надежды обретают очертания, наливаются плотью. А вместе с тем типизируются, становятся удаленным общим местом, чем–то вроде прилавка, к которому выстроилась несусветная очередь. И поет над головами Юрий Лоза

О далеких мирах, о волшебных дарах,
Что когда–нибудь под ноги мне упадут,
О бескрайних морях, об открытых дверях,
За которыми верят, и любят, и ждут
Меня…

Легкие логические неувязки извинимы общим пафосом Иванушки–дурачка, не признающего иной рыбалки, нежели ловля рыбок золотых.

В детстве надежду и мечту еще легко перепутать. А в очереди не до грез — твой номер чернилами выведен на ладони.

И тогда надежда становится циничной. Один надеется безнаказанно сделать подлость. Другой надеется выстрелить первым. Третий надеется, что благосостояние его будет расти с каждым годом, больше того — с каждым днем.

Четвертый уже ни на что не надеется… — у него и так все есть.

Оказывается, человеку не так уж много надо. Совсем мало, сравнительно с розовым детским маревом. И достичь всего этого — вполне реально. Нет такой цели, которой бы нельзя было добиться. Нет профессии, которую нельзя освоить. Нет женщины, которую нельзя после более или менее длительной и изощренной осады завоевать. Нет языка, который нельзя выучить. Нет Бога, в которого нельзя поверить…

Другое дело, что за осуществление своих надежд надо платить. Чем же? Стремительно сокращающейся дистанцией между тем, что ты есть (что ты имеешь), и тем, на что ты надеешься. Своеобразная корректировка курса — ты подтягиваешь к себе линию горизонта, и пересечь ее теперь — раз плюнуть.

— Как жизнь?

— Удалась.

Мы очень смеемся по этому поводу…

КАРФАГЕН УЖЕ РАЗРУШЕН

В общем хоре безумцев различите и мой фальцет. Говорить о любви, — что может быть пошлее и бессмысленней? Мы не верим, когда говорят, что каждый смыслит в медицине или футболе — не каждый. Зато уж о любви каждый замолвит словечко, заветное, выстраданное… В мировой библиотеке за любовью самый длинный и высокий, самый запыленный стеллаж. Об удельном весе «любви» в фонотеках и видеотеках страшно даже вспоминать. Каким бы мудрым ни был человек, стоит произнести «любовь», — и все, попался, как рыба на крючок. И понесло его, потащило — письма, стихи, записочки, песенки, труды, трактаты, затраты… Что я в сравнении с этою горой человеческих познаний? Так, чиркающая по бумаге (чирикающая!) мелочь. И суждения мои могут иметь хоть какую–то ценность лишь в качестве характеристики времени и места, «где–и–когда» все это пишется. А стало быть — долой цитаты! Цитаты ничего не доказывают, из них можно извлечь экстракт на любой вкус.

Но от парочки цитат все же не удержусь — просто чтобы показать читателю, как хорошо писали о любви раньше и как плохо (ведь я и себя сюда включаю, в «здесь–и–теперь») пишут теперь. Итак, блаженный Августин:

«Я прибыл в Карфаген: кругом меня котлом кипела позорная любовь. Я еще не любил и любил любить и в тайной нужде своей ненавидел себя за то, что еще не так нуждаюсь. Я искал, что бы мне полюбить, любя любовь: я ненавидел спокойствие и дорогу без ловушек…

Любить и быть любимым было мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. Я мутил источник дружбы грязью похоти; я туманил ее блеск адским дыханием желания… Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться. Боже мой милостивый, какою желчью поливал Ты мне, в благости Твоей, эту сладость. Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры…»

Какой стиль! Сколько темной воды в каждой фразе! Что за чудная соразмерность эпитетов! Разве нынешние так пишут? Взять хотя бы Лимонова (я Лимонова очень уважаю, я считаю, что ему палец в рот не клади) или Генри Миллера, этих признанных корифеев практической философии любви. — Разве они обладают подобным слогом? Вот последний изъясняется в своем романе «*Sexus*»:

«У меня любовная горячка. Смертельная болезнь. Одна–единственная пылинка перхоти способна вызвать у меня судороги, как у отравленной крысы».

Перхоть… крысы… Эволюция жанра: так ведь скоро о любви станут писать даже не площадными словами, а и вправду кровью, слюной, семенем… И все для того, чтобы добиться того же эффекта, к какому стремился и блаженный Августин? Нулевого!

Ибо как никого ничему не научил своею велеречивостью богобоязненный стародавний монах, так не воспримут и позднейшие откровения. Что толку рассуждать о всеобъемлющем и всеобщем! Каждый хоть раз в жизни любил «по–настоящему», наверняка воображая себя единственным любящим на земле, и чужие выверты попросту не воспринимает. А посему я категорически отказываюсь в биллионный раз выводить «формулу любви». Письмена эти — на песке и неизвестном языке; но, может быть, имеет смысл поговорить об отношении к любви?..

Современное (то есть, мое) понимание состояния любви вкратце можно изложить так: этим не следует гордиться, это не возвышает. Все мы смешны в любви. Все эти «зайчики», «солнышки», «душечки»… Искренний или наигранный алогизм поведения и слов. Любовь, как китчевая форма философии, переводит на общедоступный язык сложнейшие понятия и явления, упрощает отношения между ними до треугольников, магических квадратов и прочих геометрических фигур.

Любовь как метафизика. Принцип неадекватности (несчастная любовь), принцип относительности (кто сильнее любит: один Гамлет или сорок тысяч братьев?), единство и борьба противоположностей — духа и материи, души и плоти, Инь и Янь. Диалектика отношений, которой мы охотно подчиняемся, даем себя пошвырять туда–сюда. Почувствовать себя игрушкой в руках судьбы, газетой на костре, пылинкой, перышком. Придаем себе нежность и уязвимость, хотя отродясь наждачные. Каменеем лицами, хотя из того же мяса сделаны, что и любая котлета. Одухотворяем кровь и слезы, технические жидкости, вроде тасола. Требуем от окружающих какого–то иного, нежели обычно, отношения: «Пожалейте меня, я люблю!» «Посмотрите на меня, я люблю!» Страх остаться одному. Страх остаться вдвоем. На вас, любовничков, весь мир уставился:

You're an actor, act, motherfucker!

(Тони Скотт, «Настоящая любовь»)

На самом деле никто ничего такого от вас не ждет, все всё знают. И на придурка, орущего в четыре утра на весь город: «Я ЛЮБЛЮ!» — заслуженно выливается ведро помоев. Любовь банальна, как банановая кожура: кто на ней не поскользнется?..

Письма великих к своим любимым (издаются специальные сборники) смертельно скучны, если только не написаны с явным расчетом на скорейшее обнародование со множеством черновиков и вариантов… Не только любовь — любое чувство банально и примитивно. А уж сильное чувство делает того, кто ему поддается (то есть, позволяет видимо проявляться), просто пошляком. Такой «чувствительный» субъект выглядит как литературный герой, а литературные герои — не живые люди. Они суть воплощенные идеи, некоторые отдельные черты, присущие психологии каждого из нас, но — усиленные, лишенные мешающего («мещанского») фона, соединенные волей творца в художественном образе. В этом смысле очень показателен триллер В. Шекспира «Ромео и Джульетта». Ведь там абсолютно некому подражать. Ромео и Джульетта любили друг друга не сильнее, чем любая парочка школьных голубков. Кабы не их двойное самоубийство в состоянии аффекта, все эти страсти (я ничуть не сомневаюсь в их подлинности) очень быстро бы выродились, истончились и зачахли. В законном, разумеется, браке. Собственно, трагедия Шекспира — не трагедия разлученных любовников, но трагедия случайностей, несовпадений, неувязок, недомолвок и недоразумений: письмо чуть запоздало, Джульетта очнулась чуть позже, чем надо бы… Другое дело Гамлет — взрослый человек, его страдания не обусловлены временными несовпадениями и физиологией: его терзают истинно метафизические проблемы. Вся эта болтовня о чувствах и духовности не имеет ни малейшего смысла, пока человек не выходит напрямую с небом, и выше — с космосом, с Богом. А подобные вертикальные устремления и противостояния подразумевают полное одиночество. Но большинство из нас этот путь не пройдет никогда. Большинство застряло на своих переживаниях, действительно сильных и глубоких, но являющихся отнюдь не целью существования, а разве что подспорьем, развлечением. А иногда — помехой.

Любовь, она ведь как работа: хочется самую лучшую. А в принципе, было бы замечательно вовсе без нее обойтись.